

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ



Осмонкули
Абракшод



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Семья Тарихов

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ



Annotation

Чингиз Торекулович Айтматов — писатель, ставший классиком ещё при жизни. Одинаково хорошо зная русский и киргизский языки, он оба считал родными, отличаясь уникальным талантом — универсализмом писательского слога. Изведав и хвалу, и хулу, в годы зенита своей славы Айтматов воспринимался как жемчужина в короне огромной многонациональной советской державы. Он оставил своим читателям уникальное наследие, и его ещё долго будут вспоминать как пример истинной приверженности общечеловеческим ценностям.

- [Чингиз Айтматов](#)

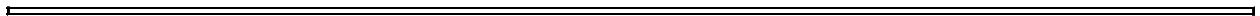
-
- [ВВЕДЕНИЕ](#)
- [РОДОСЛОВНАЯ](#)
- [ДЕТСТВО](#)
- [ЮНОСТЬ](#)
- [ГОДЫ УЧЁБЫ](#)
- [«ОРЛИНОЕ ПЕРО, УПАВШЕЕ С НЕБЕС...»](#)
- [НЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ](#)
- [РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ:](#)
- [ПО ЖИЗНИ, НЕ ПО ФРЕЙДУ:](#)
- [САГА О ВОЙНЕ:](#)
- [КРУТОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ](#)
- [ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ,](#)
- [АЙТМАТОВ КАК «ШЕСТИДЕСЯТНИК»](#)
- [НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ](#)
- [ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ](#)
- [БИТВА ТИТАНОВ](#)
- [БОГ И ПОСТМОДЕРНИЗМ](#)
- [СКОРЕЕ РУССКИЙ, ЧЕМ КИРГИЗ?](#)
- [ЕГО ЖЕНЩИНЫ](#)
- [БИБИСАРА И ЧИНГИЗ:](#)
- [ГОРБАЧЁВ И «ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ФОРУМ»](#)
- [АЙТМАТОВ И СССР:](#)
- [АЙТМАТОВ-ПРЕЗИДЕНТ?](#)
- [АВТОГРАФЫ НА ОБЛОМКАХ](#)

- [В ПОИСКАХ БОГОМАТЕРИ В СНЕГАХ](#)
- [АЙТМАТОВ И ЭПОС «МАНАС»](#)
- [АЙТМАТОВ И ТЮРКСКИЙ МИР](#)
- [КРЕСТ И ПЛАХА](#)
- [ТЕНЬ КАССАНДРЫ](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)

- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)



Чингиз Айтматов



ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1939

(1739)

Ослонакун Убраиллов

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2018

ВВЕДЕНИЕ

Чингиз Торекулович Айтматов ушёл из жизни в году 2008-м, незадолго до того написав свой прощальный, как выяснилось, роман. Впрочем, уже в самом названии его — «Когда падают горы» — читались некие глухие намёки и роковые предчувствия. Глубокий трагизм мировосприятия писателя угадывался уже в ранних его произведениях, но такой вселенской тоски, такой безысходности, которая прозвучала в этом романе, у него не было. Падающие горы — это некий образ Судного дня, айтматовский «Последний день Помпеи». Вновь появляется сквозная в его творчестве тема журавлей, вновь описан их поднебесный облёт Земли, этой обители детей человеческих или, вспоминая Антуана Сент-Экзюпери, Планеты людей. В общем, получилась книга прощания с жизнью и одновременно некое подведение итогов, осознание, что художник в отведённые ему сроки постиг, понял, пережил.

Но была в его уходе и поистине глобальная символика: вместе с Чингизом Айтматовым отошла целая эпоха, советская эпоха, коей он был плоть от плоти, её родным, хоть и суровым сыном. В годы зенита писательской славы он воспринимался как жемчужина в короне этой огромной многонациональной державы, её законная гордость, живое воплощение её национальной, социально-культурной политики.

Как известно, принадлежал Айтматов к тому небольшому среднеазиатскому народу, который вёл кочевой образ жизни и считался всеми путешественниками и этнографами XIX века крайне отсталым в своём социально-экономическом развитии. И это правда. Мы, киргизы, после переселения из Алтая и Южной Сибири долго, многие сотни лет блуждали по обочинам большой истории. Но за годы советской власти наш народ преобразился, совершил огромный рывок и в социальной жизни, и в культуре и науке. Произошло то, что можно назвать возрождением, своеобразным национальным ренессансом. Ну а Чингиз Айтматов явил собою высшее торжество этого преобразования.

Что бы ни говорили критики распавшегося Союза, но именно советская эпоха его взрастила, сформировав как личность и как писателя, отразившись со всеми своими подъёмами и падениями, драмами и трагедиями в его удивительной судьбе, в личной, семейной биографии, и, разумеется, в биографии творческой. Именно Айтматов в своих романах,

повестях, рассказах воссоздал и светлое очарование этой незабываемой эпохи, и её тяжёлые заблуждения, и, наконец, закат в поздние 1980-е. Закат великой империи по имени Советский Союз...

Родиной своей, отчей землёй Чингиз Айтматов всегда считал Киргизстан. Это его вечная любовь и вечная боль. Но в такой же степени ему были близки и Россия, и Казахстан, и Узбекистан, другие республики Центральной Азии, а в последние годы и Турция, где его буквально боготворили. Айтматова очень хорошо знали и в Европе, особенно в Германии, да и по культурным привязанностям, по душевному складу он был истинный европеец. Или, точнее сказать, евразиец.

Айтматов-художник одинаково уверенно чувствовал себя в двух языковых стихиях — киргизской, то есть, тюркской, и русской. Художнику глубоко национальному по духу, ему был внятен и дух мировой, и потому он воспринимался и воспринимается как свой в разных пределах нашей планеты, от Дальнего Востока до Европы. Универсализм его писательского языка, знаменитый «панмонголизм» — одно из самых ярких свойств его литературного дара. Как русскоязычный писатель, он был близок всем, кто на этом языке читал и писал, а как тюркоязычный — являлся общей гордостью десятков народов этого культурно-языкового ареала.

А потом наступила новая эпоха — эпоха постсоветская, и всё стало круто меняться. Естественно, задела эти перемены и Чингиза Айтматова, прежде всего Айтматова-художника. Или, вернее сказать, изменилось его положение в читательской аудитории, кумиром для которой он оставался долгие десятилетия. Автор «Джамили», «Белого парохода», романов «И дольше века длится день», «Плаха» и иных книг, издававшихся миллионными тиражами на самых разных языках мира, начал терять своих бесчисленных читателей. Теперь их разделяли границы, блокпосты, которые писатель искренне ненавидел и открыто презирал.

Иллюзий у Айтматова не было — он остро видел язвы системы, потому и стал не только приверженцем, но и деятельным участником горбачёвских реформ. Но крушения страны под названием Советский Союз не предполагал и уж точно к тому не призывал. И когда она на его глазах развалилась, он, похоже, на какое-то время растерялся, замолчал как художник. Да и как человеку, не отделявшему свои надежды и искания от надежд общества — а именно таким он был с молодых лет — ему приходилось нелегко. Он буквально метался между новыми независимыми странами-государствами. Киргизский дипломат, представляющий свою маленькую республику в Европе, он жил в Брюсселе, но часто наезжал в Москву, бывал в Алма-Ате и Астане, в Стамбуле и Баку. И всё же волей-

неволей ему приходилось осознавать то, что его Союза, его большой страны больше нет. Нет и той огромной читательской аудитории, какая у него была раньше. И стало быть, гражданин мира, художник, принадлежащий всем, кто его знал, читал, перечитывал и преклонялся перед его талантом — тоже уходящая натура?

Чингиз Айтматов скончался 10 июня 2008 года. Неожиданно и сильно заболел в Казани, уехал лечиться в Нюрнберг, где и умер в небольшой частной клинике.

Похоронили его в Бишкеке, в его любимом городе.

Автор этой книги имел честь быть близким соратником Чингиза Айтматова, младшим собратом по литературе, исследователем его творчества на протяжении многих лет. О жизни и творчестве Чингиза Торекуловича так или иначе речь шла и в моём двухтомном исследовании «История киргизской литературы XX века», книге «История киргизского государства», в других работах.

Хочу от души поблагодарить за оказанную бесценную помощь в работе над этой книгой супругу писателя Марию Урматовну Айтматову, сына его Эльдара Айтматова, сестру Розу Торекуловну Айтматову.

Хочу также выразить мою искреннюю признательность Николаю Аркадьевичу Анастасьеву за его большую помощь в подготовке этой книги к изданию, за его советы и внимательное прочтение рукописи.

РОДОСЛОВНАЯ

Чингиз Торекулович Айтматов родился 12 декабря 1928 года. Он был уроженцем Таласа — первородины древних киргизов, перекочевавших сюда с Алтая ещё в раннем Средневековье. В «Заметках о себе» он писал, что для киргиза знать своё происхождение, причём до седьмого колена, есть неприменный сыновний долг. «У нас в аиле старики на этот счёт были строги, — вспоминал он. — Они обычно испытывали мальчишек: “Ну-ка, батыр, скажи, из какого ты рода, кто отец твоего отца? А кто его отец? А его? А какой он был человек, чем занимался, что говорят о нём люди?” И если окажется, что мальчик не знает свою родословную, то это дойдёт до ушей его родителей. Что, мол, это за отец, без роду, без племени? Куда он смотрит, как можно расти человеку, не зная своих предков, и т. п. Я бы мог тоже начинать своё жизнеописание с этого, как теперь принято называть, “феодалного пережитка”. Я бы мог сказать, что я из рода шекер. Шекер — наш родоначальник, мой отец — Торокул, его отец — Айтмат, а его отец — Кимбильди, а его отец — Кончуджок»^[1].

К сказанному можно добавить, что племя Шекер, названное по имени родоначальника (в честь которого названо и село на севере Киргизстана, где родился Чингиз Айтматов) принадлежит к большому роду кытайлар — части левого крыла исторических соборных киргизов. Между Шекером и Кончуджоком — десятки поколений и имён, но их Чингиз, по собственному признанию, не знал.

Кончуджок был голь перекатная, в буквальном переводе его имя означает «безголенищный», то есть носящий чарыки, обувь из сыромятной кожи, а вот сын его Кимбильди стал весьма деловитым и предприимчивым человеком, баем по местным меркам. Сын Кимбильди — Айтмат, хотя и не сумел сохранить отцовское состояние, всё же в нищету не впал и даже построил для своих соплеменников водяную мельницу, остатки которой Чингиз видел ещё в детстве. «Деда Айтмата я не застал, но говорят, что он был человеком мастеровым, умел шить, первым привёз из города швейную машину, отсюда получил прозвище “машинечи Айтмат”, то есть портной Айтмат; дед умел рубить сёдла, умел лудить и паять, хорошо играл на комузе и даже читал и писал арабским алфавитом. Но, при всей предприимчивости... всю жизнь не вылезал из долгов и нужды, временами оставался “жатаком” — неkochующим, ибо не было для этого скота.

Окончательно разорённый, дед уходит вместе с двенадцатилетним сыном Торекулом, моим отцом, на строительство железнодорожного тоннеля близ станции Маймак. Отсюда Торекул с помощью тамошней русской администрации попадает в русско-туземную школу города Аулие-Ата, ныне Джамбул»^[2].

Стоит особо сказать ещё об одном отдалённом предке Чингиза — Кытае.

Как рассказывает Роза Айтматова, сестра писателя, Кытай происходил от Куба уул — родоначальника левого крыла соборных киргизов. Однажды его правнук Каранай, возвращаясь с победой после сражения с китайскими племенами, живущими по соседству, узнал радостную и долгожданную весть: его жена родила сына. Согласно семейному преданию в ту ночь только уродилась новая луна, по-киргизски «ай», но не простая, а «куттуу», то есть «благовестная». Так сложилось имя младенца — «Кут-ай». Кутай со временем превратился в Кытай, отсюда и название рода — *кытайлар*.

Сам же Чингиз Торекулович рассказывал историю происхождения своего прапрадеда Кытая иначе, уважая традицию, он всё же толковал о родоплеменных связях с некоторой долей иронии. Хорошо помню одну его шутку, когда находясь в кругу близких ему людей и расспрашивая, кто какого рода-племени, Чингиз Торекулович, смеясь, сказал: «А я из рода китайских императоров...» Мы все и удивились, и от души посмеялись, ведь кытайцы, насколько известно, никакого отношения к этническим китайцам не имеют.

А может, зря смеялись, ведь легенды и мифы — не просто фантазия, они обладают порождающей, творческой силой.

Одну из таких легенд о Кытае рассказал сам Чингиз Торекулович. Она гласит, что воинственные киргизские племена всё время занимались грабежами и набегами на китайцев, живших в сопредельных территориях. Китайцы старались утихомирить их и примерно наказать, но это не всегда получалось — киргизы быстро отходили и исчезали в высоких горах. «Гонцы даже проникали глубоко в горы, но киргизы умели скрываться в горах так, что никто не мог их найти. Надоело каждый день слышать о киргизских набегах китайскому императору, и тогда он пригласил своих сподвижников и сказал, чтобы они устроили ему переговоры с киргизским ханом. Император и хан договорились о перемирии: киргизы прекращают набеги на китайские поселения, а император выдаёт замуж одну из своих дочерей за киргизского хана. И у хана родился сын от китайской принцессы. Чтобы отличить его от детей, родившихся от других жён хана, о нём говорили “кытай аялдын баласы”, что значит сын жены-китаянки.

Для краткости его называли просто “кытайдын баласы” или “кытай”, а род, произошедший от него, стал называться Кытай»^[3].

Таким образом, вполне возможно, что в жилах предков Айтматова текла и китайская кровь, причём чуть ли не императорская. Впрочем, какая бы кровь ни текла в его жилах, Чингиз Айтматов был «каганом духа и падишахом слова», как говорил Олжас Сулейменов. А это величие выше императорского.

От Кытая родился сын Тулку. От Тулку происходят Байтике, Буудай и Божу Буудай. Потомками Байтике были Тонтогор и Кыйра. Шекер приходится сыном Тонтогора и является родоначальником рода Айтматовых. От него произошёл Кудайназар, а от того — близнецы Асан и Усен. От Асана — Табылды. У Табылды было два сына: Кончужок и Танабай. От Кончужока происходят Джаналы и Тыналы. Сыном Тынылы был Кимбильди. У Кимбильди было два сына: Биримкул и Айтмат.

У Биримкула, старшего брата Айтмата, было две жены, от которых родились три сына: Алымкул, Озубек и Керимбек. У Айтмата и Аимкан имелось пятеро детей — два сына и три дочери: Аимкуль, Торекул, Карагыз, Гуляим и Рыскулбек. У Торекула родились Чингиз, Ильгиз, Люция (Люся) и Розалия (Роза).

О Торекуле Айтматове, конечно, известно намного больше, чем о его предках, отдалённых и близких. Потому не будем описывать подробности его биографии. Достаточно сказать, что он, убеждённый большевик-ленинец, учился вместе с немногими киргизами своего поколения в самой Москве, в Институте марксизма-ленинизма и на курсах красной профессуры, занимал высшие партийные посты в советской Киргизии.

По свидетельствам людей, его знавших, это был человек очень яркий, добрый, душевный и по-мужски красивый. Судя по фотографиям, Торекул отличался высоким ростом, у него были умные, проникновенные карие глаза, вьющиеся чёрные волосы. Чингиз Торекулович говорил, что его шевелюра — от отца, а лицо, глаза — от матери.

Как политик и общественный деятель, Торекул Айтматов принадлежал к числу тех первых руководителей советской Киргизии, что в глубине души мечтали о независимом Туркестане. Об этом много, пусть и келейно, говорили в начале 1920-х годов в кругах тогдашней киргизской и казахской элиты, принявшей пантюркистскую идею Алаш Орды и великого Турана. Это, конечно, тема особая. Здесь достаточно отметить лишь, что в какой-то степени спровоцировал эти дискуссии не кто иной, как В. И. Ленин, который не раз высказывался в том смысле, что если какие-то окраинные народы захотят отделиться от Советской России, то не следует им сильно

препятствовать. Конечно, это было чистое политиканство. Дело в том, что Ленин, выводя знаменитую формулу о праве наций на самоопределение, справедливо полагал, что эти слаборазвитые, а то и вообще экономически беспомощные народы при всём желании не смогут просуществовать без России.

Но вождь мирового пролетариата всё-таки недооценил истинных устремлений местных элит. Идеи независимости сразу же подхватили некоторые закавказские политические круги, их отстаивали отдельные среднеазиатские политические деятели, не заметив или не придав должного значения тому, что в Москве дули уже иные ветры. Новый вождь — Иосиф Сталин — взялся за максимальную централизацию власти, начал строить свой тоталитарный монолит, и всех, кто только помышлял о самостоятельном пути, сначала осаждал, а затем просто ликвидировал как злостных «врагов народа». Многие видные деятели как в центре, так и на местах стали жертвами террора 1937—1938 годов. В их числе был и Торекул Айтматов — вчера один из руководителей республики, а сегодня «враг народа», приговорённый к десяти годам заключения «без права переписки», расстрелянный и вместе с другими «врагами» брошенный в могилу, которую удалось разыскать лишь полвека спустя после его гибели.

Можно только догадываться, сколь глубокую драму пережил сын, рано потерявший отца, как отразилась эта беда на его духовном становлении, хотя, несомненно, в самом трагическом звучании его творчества угадываются психологические травмы тех юных лет. Чингиз Айтматов глубоко презирал всех, кто отнял у него отца, ненавидел и власть, ими олицетворяемую. Ненавидел, не верил в милосердие и гуманизм, испытывая кафкианский страх, не исчезнувший и тогда, когда эта власть одаривала его высшими знаками доблести и почёта. А с другой стороны, прекрасно понимал, сколь много сделала и делает она для киргизского народа, какие высокие идеалы перед собой ставит. Такое вот страшное, мучительное противоречие, тоже сильно отразившееся в его книгах, в которые рано вошла и постепенно стала сквозной тема власти, её вторжения в частную жизнь человека.

Вернёмся к генетическим корням Айтматова. По материнской линии он принадлежал к этническим татарам, правоверным мусульманам, переселившимся в середине XIX века в Среднюю Азию. По свидетельствам родственников Чингиза Торекуловича, предки его по этой линии были весьма грамотными, образованными по тем временам людьми, среди которых были учителя, коммерсанты, священнослужители. Хамза Абдувалиев, дед Айтматова по материнской линии был российским купцом

2-й гильдии, имел преуспевающее торговое дело, завоевал известность своей благотворительной деятельностью. Сохранилось написанное им обращение в местной газете с призывом о помощи киргизам, жестоко пострадавшим от джута (падежа скотины из-за обильного снегопада и нехватки корма). Он окончил медресе, знал арабскую письменность, неплохо владел русским языком и сделал всё возможное, чтобы дать детям образование, научить читать и писать, говорить по-русски, сделать их культурными, передовыми людьми своего времени. Обосновавшись в Караколе, небольшом русско-татарско-киргизском поселении (бывшем Пржевальске), он построил просторный дом, наладил тесные связи с киргизами и местной знатью, заслужив уважение своим трудолюбием и деловой хваткой. В период восстания 1916 года он сочувственно отнёсся к местному населению, подвергнутому жестоким преследованиям властей. А с установлением власти новой — советской — добровольно отдал своё имущество в распоряжение большевиков. Его двухэтажный фамильный дом сохранился, а сад, разбитый им в Караколе, до сих пор носит название «Сад Абдувалиева».

Мать писателя — Нагима Айтматова, в девичестве Абдувалиева — была женщиной редкой душевной красоты, верной спутницей жизни Торекула, обладавшей немалой образованностью и разделявшей передовые взгляды своего времени. Смело можно утверждать, что писатель Айтматов очень многим ей обязан: и прекрасным воспитанием, и душевным теплом. Мать оставалась с ним всегда и всячески поддерживала в самые трудные дни и годы.

Родословная ветвь Абдувалиевых выглядит так: Йосыф — Халил — Габдрашит — Гайса — Габдельвали (1800 г.) — Хасан-Хамза (1850—1932 гг.) — Нагима (1904—1971 гг.) — Чингиз Айтматов (1928—2008 гг.).

Стоит заметить, что Абдувалиевы и Утямышевы являются двумя параллельными ветвями известного в Татарстане рода Ишмана. Как сообщает Роза Айтматова, из него вышло немало передовых людей своего времени, имеются письменные данные о как минимум двухстах достаточно известных представителях этого рода.

В родословной Хамзы Абдувалиева сказано: Ишман — сын Туктаргали, Туктар — сын Кучука, Кчук — сын Табежа, Табеж — сын Кудаша, Кудаш — сын Кул сулаймана, Кул сулайман — сын Сулаймана. Эти два прадеда восходят к знаменитым булгарам^[4].

Путь Нагимы — сюжет для целого романа. Её жизнь, складывавшаяся поначалу вполне благополучно и даже счастливо, особенно после встречи с Торекулом, которого она любила нежно, преданно и продолжала ждать

даже тогда, когда ждать уже давно было некого, превратилась после его гибели в бесконечную череду страданий, унижений, борьбу за кусок хлеба, который надо было разделить на четверых детей.

Таких, как она, было, увы, немало, и всё же, памятуя о том, что выпало на её долю, хочется назвать Нагиму святой. При этом святой, как ни парадоксально это звучит, счастливой — ибо она выстояла, уберегла детей, не дала им сломаться, потерять то, что называют нравственными ориентирами. Как неоднократно повторял сам Чингиз Торекулович, она одна вела всех их по жизни, и вела правильно. Нагима дожила до реабилитации мужа, успела застать послесталинскую оттепель, стала свидетельницей триумфального восхождения Чингиза к вершинам успеха и подлинно всемирной славы.

Роза Торекуловна рассказывает такой случай из жизни матери. В разного рода предсказания она верила не особо, и всё же беды, обрушившиеся на семью после ареста мужа, вынудили её однажды спросить у цыганки-гадалки, что же ждёт её и детей, есть ли какой-нибудь просвет в будущем. Цыганка не сильно её обрадовала, обмолвившись, что один из сыновей станет очень большим человеком и его имя узнает весь мир. Подавленная тяжкими повседневными заботами, Нагима пропустила эти слова мимо ушей, надеясь услышать что-то про мужа, от которого никаких вестей не было. Вспомнила она о давно забытом предсказании гадалки намного позже, в конце 1950-х — начале 1960-х годов прошлого века, когда на Чингиза и впрямь обрушилась громкая слава.

Айтматов был человек сдержанный, на людях своих чувств, как правило, не выражал, но в трёх случаях его видели рыдавшим: когда скончалась Нагима, его дорогая мать и добрый ангел, когда после тяжёлой болезни покинула сей мир Бибисара Бейшеналиева и когда умерла первая жена, мать двоих его детей, подруга жизни в самые непростые годы — Керез Шамшибаева. Перед ней Чингиз Торекулович всегда считал себя виноватым за то, что в какой-то момент — находясь в самом зените славы и в Советском Союзе, и во всём читающем мире — ушёл к другой женщине. Легенда гласит, что перед уходом он всячески просил у Керез прощения, даже встал на колени.

Правда, мы все своими глазами видели, как он плакал ещё в одном случае. Плакал без слёз, беззвучно, возлагая цветы к могиле отца, нашедшего вечное упокоение в братской могиле Ата-Бейит (название было предложено самим Чингизом Торекуловичем). Лицо его было очень бледным, исполненным глубокого страдания. Потом, в одном публичном выступлении, Айтматов скажет, что отец его всё-таки счастливый человек,

лежит в таком изумительном тихом месте, откуда виден Бишкек и красивые горы. Конечно, это были слова мудрости, внутреннего умиротворения, а также человеческой покорности воле Всевышнего.

Судьбе было угодно, чтобы там же, в Ата-Бейите, «Могиле отцов», обрёл вечный покой и он сам, Чингиз Торекулович Айтматов, великий писатель земли киргизской, наша национальная гордость и слава.

ДЕТСТВО

Заря и сумерки

Говоря о своём детстве, Чингиз Торекулович Айтматов всегда подчёркивал две противоположные вещи — зарю и сумерки. Он часто и с нежностью вспоминал период раннего детства, когда и мать, и отец были рядом, а вместе с ними младший брат Ильгиз и сёстры Люция и Розалия. И по меркам того времени жили они, имея в виду высокое положение отца, более чем благополучно. Когда отец учился в Москве, ему дали квартиру в самом центре города, на улице Воровского (ныне Поварская). Чингиз поступил в московскую школу, гулял с отцом и матерью по великому городу, пересекал Красную площадь, останавливался перед Большим театром, но главное, конечно, наслаждался беззаботным детством, играя с мальчишками и в школьных коридорах, и на подмосковной даче, и во дворе легендарного дома Ростовых, близ которого жили Айтматовы. Правда, по крайней мере, однажды игры прервал траур — хоронили Максима Горького, и отец взял с собой на панихиду восьмилетнего Чингиза.

При всей безоблачности — до поры — детских лет рос он мальчиком чувствительным и душевно ранимым. По прошествии долгих лет, вспоминая в беседах со своим немецким переводчиком Фридрихом Хитцером те свои рассветные годы (опираясь на них, Хитцер издал книгу под названием «Детство»), писатель остановился на двух характерных эпизодах. Повели его как-то в Москве родители на фильм «Соловей-Соловушка». Фильм оказался фальшиво-сентиментальной поделкой, однако же, наблюдая экранные страдания персонажей, малыш во весь голос расплакался. Отец пытался его успокоить, говорил, что это всего лишь фильм, игра артистов, но успокоить сына так и не удалось. Вернувшись домой, Торекул пожаловался жене, что ребёнок у них растёт плаксивый и слишком чувствительный — как жить-то будет, когда повзрослеет. Быть может, уже предчувствовал, что над головой сгущаются тучи, и скоро совсем иные, не вымышленные беды, обрушатся на хрупкую душу мальчика.

А в другой раз, увидев на даче, в селении Парфёновка, как дерутся двое пьяных и один нещадно избивает другого, Чингиз прибежал к отцу и слёзно умолял разнять людей, помочь бедняге.

«Отец всерьёз был обеспокоен, думая, что из меня настоящего мужчины так и не получится.

— Нагима, каким он вырастет? Да, дерутся люди, оба пьяные, понятное дело, а этот орёт да орёт, обливаясь слезами. Как же так? Что с ним станет потом, в будущем?

Мама и на этот раз попыталась оправдать меня, говоря, что с маленькими детьми такое бывает, что, мол, вырастет, всё будет как у всех»^[5].

Увы, счастливая пора детства скоро резко оборвалась: Торекула Айтматова задержали ещё в Москве, затем этапом переправили во Фрунзе. Тревожные сомнения терзали его давно, да и что удивительного — почти всех видных деятелей Киргизии допрашивали, иных уже задерживали, им предъявлялись какие-то немыслимые обвинения, в газетах появлялись статьи зубодробительного содержания. Делясь этими сомнениями с Нагимой, он гнал их, искренне веря, что уж его-то чаша сия минует. Да и в чём его, честного партийца, можно было обвинить? И всё же, видя, что творится вокруг, Торекул решил в спешном порядке отправить детей домой — даже не во Фрунзе, а в далёкий Талас, киргизскую провинцию, к родственникам. Тревогу свою, сажая детей в поезд, старался ничем не выдать, шутил, всячески подбадривал, да только те сами смутно догадывались, что всё это неспроста, что в их жизни происходит что-то очень тревожное, страшное и непоправимое.

Этот эпизод, когда Торекул провожал жену и детей на Курском вокзале и бежал за двинувшимся поездом, бежал, оглушаемый рёвом сирены, как будто хотел догнать поезд и уехать вместе, писатель потом восстановит, в преображённом, естественно, виде в своих произведениях. В частности, в «Первом учителе» описана картина, когда учитель Дюйшен, провожая свою любимую ученицу Алтынай в дальний путь, упрямо бежит за поездом, словно сам хочет вскочить на подножку и что-то важное сказать в последний момент.

Но ещё печальнее расставания на Курском вокзале было прибытие на киргизский полустанок Маймак. Этот момент тоже обрёл впоследствии художественную форму, например, в повести «Лицом к лицу»:

«Темна ночь в ущелье Черной горы. Но ещё непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Время от времени темнота словно колышется от света и грохота поездов; поезда проносятся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно.

...Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряжённо всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер, за

приземистой станционной улочкой, где-то под обрывом, натруженно, подспудно гудела река. По лицу дневального скользнул холодный тополиный лист — словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Отгудели над рекой пролёты моста. Дальше — туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки и двинулся дальше.

Всё глуше и реже постукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колёс.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов.

Темна ночь в ущелье Чёрной горы...»

Так в жизни Айтматовых началась сплошная чёрная полоса. Самое страшное, конечно, заключалось в том, что после ареста Торекула, расстрелянного в 1938 году по обвинению в буржуазном национализме, на них стойко отпечаталось клеймо семьи «врага народа», которое Чингиз пронёс через детство, отрочество, юность.

А память об этой чёрной полосе осталась с ним практически навсегда, не стёрлась даже с ярким творческим взлётом конца 1950-х, в пору зенита его феерической славы. А когда в 1990 году были найдены, наконец, останки Торекула Айтматова в урочище Чон-Таш близ Бишкека, в братской могиле жертв сталинских репрессий, стало пронзительно ясно, что пережитое — это знак свыше, *punctum saliens*^[6], магистраль айтматовской судьбы и творческого пути.

Война началась, когда Чингизу не было и четырнадцати лет, и тут же возникло острое желание попасть на фронт. Было в нём, наверное, что-то подростково-романтическое, мечта о подвиге. Юный Чингиз хотел доказать, какой у Торекула Айтматова героический сын. Писатель вспоминал: «Мы с братом очень переживали всё, что писали тогда о нашем отце. А я уже читал книги о разведчиках-чекистах и втайне мечтал, чтобы меня послали поймать какого-нибудь шпиона и чтобы я поймал и погиб, чтобы доказать таким образом невиновность моего отца перед Советской властью»^[7].

Как свидетельствует Роза Айтматова, Чингиз несколько раз пытался записаться добровольцем, с друзьями тайно ездил в райцентр и обращался с заявлениями в военный комиссариат, но ничего из этого, конечно, не вышло — он был слишком молод.

Несомненно, на фронт звало чувство патриотизма и ненависти к врагу, чуть ли не на каждом углу висевший знаменитый плакат военных лет с

изображением молодого солдата в будёновке и с указующим пальцем: «А ты записался добровольцем?» побуждал к действию.

И всё же, всё же... Героическая гибель на фронте виделась ему прежде способом избавления от позорного клейма сына «врага народа». Это был некий морально-психологический комплекс, бремя, тем более невыносимое, что само честное имя отца оставалось таковым в глазах сына, и восстановить его, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, было истинным сыновним долгом.

Это бремя Чингиз Айтматов пронёс через всю жизнь.

Потеря отца, детство, а затем пятилетнее военное отрочество стали той почвой, тем богатейшим жизненным источником, откуда он, уже будучи писателем, писателем всемирно знаменитым, одной из знаковых фигур всей советской империи, постоянно черпал вдохновение, и черпал обильно.

Однако поразительно то, что, как и многие миллионы жертв сталинизма, ни Чингиз, ни его близкие во всём этом видели не политику Иосифа Сталина, а преступные заблуждения тех, кто его окружал. Свидетельством этому является первый и в общем-то забытый рассказ Айтматова «Газетчик Дзюйю», опубликованный в 1952 году в газете «Советская Киргизия». Сам Чингиз Торекулович не любил вспоминать свой дебют — по всей видимости, открытое восхваление политики диктатора устами японского мальчика, раздающего газеты на улицах Токио, его явно смущало. Рассказ не вошёл ни в одно собрание сочинений писателя ни при жизни, ни после его смерти. Да и никакой художественной ценности он не имеет — типичная проба пера, незрелое упражнение начинающего, может, даже просто попытка заявить о себе, затронув политически актуальную тему.

Но вернёмся к теме нескончаемых унижений из-за клейма «врага народа» и безотцовщины. Характерен эпизод, о котором часто вспоминал Чингиз и о котором пишет в своих воспоминаниях сестра писателя Розалия. Писатель вспоминал: «В 1937 году мой отец, партийный работник, слушатель Института красной профессуры в Москве, был репрессирован. Наша семья переехала в аил. Вот тогда и началась для меня подлинная школа жизни, со всеми её сложностями. В то тяжёлое время нас приютила сестра отца — Карагыз-апа. Как хорошо, что была она у нас! Она заменила мне бабушку. Подобно своей матери, она — мастерица, сказочница, знавшая старинные песни, — пользовалась в аиле таким же уважением и почётом. Моя мать приехала в аил тяжелобольная, болела она после этого долгие и долгие годы. А нас, детей, было четверо, я — самый старший. Положение было очень тяжёлое, но Карагыз-апа открыла нам глаза на то,

что какие бы бедствия на человека ни обрушились, он не пропадёт, находясь среди своего народа. Не только наши одноплеменники-шекеры (тогда этот «феодальный пережиток» оказал нам неоценимую услугу), но и соседи, и вовсе незнакомые раньше люди не оставили нас в беде, не отвернулись от нас. Они делились с нами всем, чем могли, — хлебом, топливом, картошкой и даже тёплой одеждой... Однажды, когда мы с братом Ильгизом — теперь он учёный, директор Института физики и механики горного дела АН Киргизской ССР — собирали в поле хворост для топлива, к нам завернул с дороги всадник. На хорошем коне, хорошо одетый.

— Чьи вы сыновья? — спросил он. Наша Карагыз-апа постоянно учила, что в таких случаях, не опуская головы, а глядя людям в лицо, надо называть имя своего отца. Мы с братом очень переживали всё, что писали тогда о нашем отце, а она, Карагыз-апа, не стыдилась нашего позора. Каким-то образом эта безграмотная женщина понимала, что всё это ложь, что не может быть такого. Но объяснить своё убеждение она не могла...

Так вот, человек этот, завернув с дороги, спросил, чьи мы. И хотя это было мучительно, не опуская глаз, я назвал нашу фамилию.

— А что у тебя за книги? — поинтересовался он. То был школьный учебник, как сейчас помню, учебник географии, который я носил за поясом. Он посмотрел книгу и сказал:

— В школе хотите учиться? — Ещё бы! Кусая губы, чтобы не расплакаться, мы кивали головами.

— Хорошо, будете учиться! — и с тем уехал»^[8].

Так, с помощью добрых людей братья начали ходить в школу, как и все дети.

Все дети любят своих отцов, но в жизни Чингиза отец занимал совершенно особое место. Может, потому, что он его рано потерял. Отец означал для него некую полноту жизни, её целостность, олицетворяя высший в мире авторитет и самую прочную духовную опору. Сын и после ареста отца всё равно не верил, что его уже нет на свете, и терпеливо ждал, будучи убеждён, что он жив и когда-нибудь постучится в дверь и войдёт в дом.

Было бы неверно сказать, что Чингиз ненавидел тех, кто лишил его отца, да и вообще само чувство ненависти не было свойственно его гармоничному душевному устройству. Скорее, можно говорить о раннем мировоззренческом надломе, смене белого на чёрное, что предопределило его последующее духовное развитие, экзистенциализм мышления, психологическую амбивалентность, глубокую расколотость его

внутреннего мира. С другой стороны, если бы не было всего этого, не было бы и Айтматова-писателя. Как выясняется, за всё хорошее мы чем-то расплачиваемся...

Война, воспоминания тех лет, люди, с которыми он сталкивался в труднейшие годы, оставили в сознании Чингиза неизгладимый след. Он учился в военное время, был слушателем Высших литературных курсов в Москве в конце 1950-х. Вообще, он очень любил учиться, но настоящим университетом жизни для него стали именно годы войны.

Даже в пору военного лихолетья жизнь семьи Торекула Айтматова не остановилась, идя своим чередом. После унижительных хождений по районным инстанциям Нагима, наконец, устроилась счетоводом в селе Кировском. Чингиз снова пошёл в школу, на этот раз в русскую. В 1942 году пришлось её опять оставить — надо было матери помогать хоть в чём-то. Но, как говорится, нет худа без добра. Через некоторое время он возвратился в Шекер, и там подростка Чингиза назначили секретарём сельсовета. В то время ему было только 15 лет. Из-за недостатка людей, особенно грамотных, в годы войны и подростков привлекали к государственной службе. Затем он работал и налоговым агентом, и письма с фронта развозил по адресам, а там нередко приходилось и вручить так называемый «кара кагаз» («чёрная бумага», то есть похоронки). Писатель потом вспоминал, что когда он или его младший брат Ильгиз появлялись в том или ином селе, жители опасались, не несут ли они опять «кара кагаз».

Жила семья, конечно, впроголодь. Как-то украли корову — единственную кормилицу матери и четверых детей. Отыскать её следовало любой ценой. Как вспоминал Чингиз в своей устной биографии, записанной Хитцером, попадись ему этот воришка, он пулю ему в лоб пустить был готов. Но ему навсегда запомнилась такая картина. Его, Чингиза, бледного от злости и отчаяния, с ружьём в руках, остановил какой-то аксакал и спросил, что случилось, в чём дело, почему он такой злой и бледный. На это Чингиз ответил, что ищет вора, укравшего единственную корову-кормилицу, и если только найдёт, застрелит на месте.

Аксакал его по-отечески успокоил, призвал не торопиться, сперва подумать, а уж после действовать: «Тебе ещё повезёт, сынок, у тебя всё ещё впереди, береги себя и успокойся».

Никто не знает, кем он был — да и был ли вообще — этот старик, наставивший подростка на путь истинный. Может, осенил его сам легендарный Хызыр, святой, волшебник, принявший облик обычного киргизского аксакала? Об этом история умалчивает, но совершенно ясно, что эта встреча запомнилась Чингизу навсегда и он помнил суть

услышанных им вещей слов всю свою сознательную жизнь.

«Если в детстве я познал жизнь с её поэтической, светлой стороны, то теперь, в годы войны, она предстала передо мной в своём суровом, обнажённом, горестном и героическом обличье, — вспоминал позже Чингиз Торекулович. — Я увидел свой народ в другом его состоянии — в момент наивысшей опасности для родины, в момент наивысшего напряжения духовных и физических сил. Я вынужден был, обязан был видеть это — я знал каждую семью на территории сельсовета, знал каждого члена семьи, знал наперечёт немудрёное хозяйство всех дворов. Я узнал жизнь с разных сторон, в разных её проявлениях»^[9].

Ему в качестве секретаря сельсовета приходилось выполнять самые разные обязанности, даже налоги собирать с населения. Он выросл не по годам, а по месяцам. Конечно, он ещё не догадывался, что весь этот ранний жизненный опыт ему как-то пригодится, что всё пережитое и испытанное станет важным источником и жизненным материалом для его литературных текстов. «Если бы я знал, как это трудно делать в военное время, голодное время, — писал позднее Чингиз Торекулович. — Для меня это было настолько мучительно, что через год, в августе 1944 года, я самовольно бросил эту работу, за что чуть не попал под суд. И пошёл учётчиком тракторной бригады на уборку хлеба. Продолжалась война, и жизнь открывала передо мной, юношей, всё новые и новые страницы народного бытия. Всё это много позже отразилось, — в той степени, насколько это мне удалось, — в повестях “Лицом к лицу”, “Материнское поле”, отчасти в “Джамиле” и “Топольке”.

В 1946 году, после восьмого класса, я поступил учиться в Джембульский зооветтехникум. Всю производственную практику 1947—1948 годов провёл у себя в аиле и теперь мог как бы со стороны наблюдать послевоенные изменения в жизни родных мне людей.

После окончания техникума, в том же году, как отличник, был принят в Киргизский сельскохозяйственный институт. Институт, кстати, тоже окончил с отличием»^[10].

Такое получилось отрочество и юность у будущего писателя, так сформировалась его личность, его любовь и ненависть к власти.

...Если взглянуть в фантастические завихрения жизни Айтматова, напоминающие «американские горки», невероятные схождения с крупными поворотами большой истории, резкие отклонения от так называемой генеральной линии, многозначительные возвращения к началам и истокам, то получится, что эта жизнь, плотно насыщенная событиями, представляет

собой некое зеркало эпохи. А с какими людьми он встречался, дружил, занимался общими делами... Тесные связи и дружеские отношения с Мухтаром Ауэзовым и Луи Арагоном, Дмитрием Шостаковичем и Александром Твардовским, с гениальным оператором и талантливым режиссёром Сергеем Урусевским, встречи с Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачёвым, которого он высоко ценил и с которым дружил до конца дней своих, 20 труднейших лет существования суверенного Киргизстана, где отношение к нему колебалось от безусловного массового поклонения до самых различных интриг и пакостей — всё это биография одного человека по имени Чингиз Айтматов.

ЮНОСТЬ

Первое пришествие мадонны

Искромсанные террором 1937—1938 годов и Отечественной войной отрочество и юность способствовали раннему духовному созреванию, раннему познанию глубинных проявлений человеческой природы, подлости провокаторов и величия духа самых простых людей в суровые годы мировой войны. Тогда он своими глазами видел и предательство, и героизм, видел дезертиров, сбежавших с фронта, и горе людей, потерявших своих родных, порой единственных кормильцев. Видел и узнал, что такое голод и холод. И, может быть, уже тогда интуитивно начал догадываться, что жизнь бесконечна, народ вечен и потому именно народ был и останется хранителем самых лучших человеческих проявлений, моральных и этических ценностей.

Очень рано Чингиз Айтматов испытал, что такое несправедливость, что представляет собой жестокая сила власти, разрушившая его детство и укравшая у него юность. Он также очень рано понял, чего это стоит — выбиться в люди, доказать свою состоятельность, достичь поставленной цели. Именно в это труднейшее время Чингиза впервые посетила муза, он окунулся в стихию народного слова, живой киргизской речи, услышал, а потом и прочитал величайший киргизский эпос «Манас», покоривший его навсегда, много занимался самообразованием. И это решало всё. Именно в эти годы он оказался в самой гуще жизни народа, ощутил его корневые устои, тот мощный фундамент, на котором и зиждется национальная культура и базируется духовность.

Тем не менее, именно человеческая судьба Айтматова с неопровержимостью доказывает, что жизнь бесконечно интересна и многогранна, что даже в военное время найдётся много места высоким мечтам и нежным, глубоким чувствам. Именно это и происходило с Чингизом во время войны, в годы труднейших испытаний.

Безотцовщина, постоянное недоедание, унижительное положение сына «врага народа» оставили, как отмечено, глубокий след в душе и мировоззрении будущего писателя, но поразительно то, что даже в таком тяжком, отчаянном детстве были свои радости и светлые моменты. И что именно в военные годы Айтматов пережил и первую любовь, что явилась к

нему не в виде волшебной феи, а в облике обыкновенной молодой, лишь немногим старше него женщины, относившейся к нему, подростку, как к своему младшему брату. Потом этот жизненный сюжет, как и иная история, относящаяся к тому же военному времени — история, связанная с Мырзагуль-бийкеч, — отразится в сюжетах литературных — в «Джамиле», этой, по словам Луи Арагона, прекраснейшей в мире повести о любви, в «Ранних журавлях».

Словом, жизнь оказалась сложнее книжных романов и готовых схем. И всё то, что он тогда увидел и постиг, запало в душу, а потом превратилось в острейшую внутреннюю потребность, даже *обязанность* поделиться, рассказать об этом людям, пропеть оду героизму, добру и осудить тех, кто эти вечные ценности топчет.

«Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее — поделиться с людьми своими мыслями, потому что обязан!» — такого рода заклинаниями предвосхищаются, с лёгкими вариациями и «Первый учитель», и «Джамиля».

«Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал всё заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашёл ещё своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и всё думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — ещё только замысел. Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. ... Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее — поделиться с людьми своими мыслями о ещё не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу её объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной. Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...»

Забегая вперёд, можно заметить, что в первые десять-пятнадцать лет творческой жизни Чингиз Айтматов действительно только делился пережитым или выплёскивал на бумагу то, что ему, его сердцу и душе,

никак не давало покоя. Об этом, пожалуй, наиболее точно сказал поэт: писать «по мандату долга».

Именно потому, что Айтматов считал себя *обязанным* рассказать о величии духа самых простых людей в самое трудное время, и появился гениальный реквием о войне — «Материнское поле». Чуть раньше, в 1957 году, вышла повесть «Лицом к лицу», а в 1962 году — «Первый учитель» — волнующее повествование о человеке, приобщающем своих юных питомцев к свету знания. В этих произведениях писатель рассказывает о том, что он своими глазами видел, в точности описывая места, где происходили события. Любопытно, что в самых ранних рассказах, появившихся до «Лицом к лицу» и «Джамиля» («Сыпайчи», «Трудная переправа», «Белый дождь»), автор всячески смягчал краски, словно бы опасаясь представить жизнь во всей её суровой и неприукрашенной правде. Не хватало опыта, а может, обычной человеческой зрелости. Наверное, эту пору можно назвать временем поиска путей, собственного голоса, тем, героев. Осознание того, что не нужно бояться правды, сколь бы ни была она неприглядна, пришло позже, когда писались «Повести гор и степей».

Говоря о трудном детстве и не менее трудной юности Айтматова, не стоит упускать из виду, что это само по себе далеко не всегда зажигает фитиль художественного творчества. Нужен ещё негасимый огонёк души, а её возвышает и очищает Божья благодать — любовь. И мы, читатели Айтматова, должны благодарить судьбу и Господа Бога, что именно в годы войны, в мрачное время общемирового бедствия на подростка Чингиза снизошла любовь, что пережил он светлое потрясение встречи с женщиной. И мир для него стал другим, и сам он резко переменился. Его чувствительная и униженная, израненная душа впервые ощутила, быть может, сама ещё того не осознавая, «неба содроганье», впервые увидел он «горный ангелов полёт».

И в нём проснулся поэт, художник.

О той ранней влюблённости вспоминают очевидцы, рассказывают близкие родственники. Но лучшее ей свидетельство — «Джамиля». Да, была в его юношеской жизни своя Джамиля, было сильное чувство, была и горькая разлука. Правда и то, что это была любовь полудетская. Какое это имеет значение? Не будем искать документальные подтверждения или опровержения давних историй. Важно одно: именно они, можно смело предположить, разбудили в Чингизе художника, произошло то, что психоаналитики назвали бы «сублимированием», то есть исключительно сильным возбуждением, открывающим выход внутренней духовной энергии. Как заметил Зигмунд Фрейд, один из источников художественного

творчества кроется именно в данной сфере чувств и психических переживаний, от которых зависит степень того самого «сублимирования», которое, бывает, длится всю жизнь.

Таким образом, два важных обстоятельства пробудили в Айтматове поэта, художника, гуманиста и в сильнейшей степени определили взгляд на мир. Первое — это все те невероятные трудности, с которыми ему после потери отца пришлось столкнуться в совсем ещё нежном возрасте и которые в военные годы и вовсе навалились тяжким бременем. Второе — благословенная встреча с любовью или первое пришествие мадонны (судьба потом дарила ему и другие, не менее сильные переживания и счастливые встречи), случившееся в те же военные годы.

Была ли эта встреча юного Чингиза с его замужней, как и дантевская мадонна, Беатриче окутана какой-то тайной, мистическим флёром? Великий итальянец так описывал эту встречу со своей возлюбленной: «...собравшиеся сопровождали одну из благородных дам, которая в этот день вышла замуж, а по обычаю города приличествовало, чтобы она, когда впервые сядет за стол в доме новобрачного, была в окружении других дам... И как только я решился так поступить, мне показалось, что я ощущаю чудесный трепет в левой стороне груди, тотчас же распространившийся по всему телу. Тогда я прислонился к фреске, которая шла вокруг по стенам зала, чтобы скрыть своё волнение. Боясь, чтобы другие не заметили мой трепет, я поднял глаза на дам и увидел среди них Беатриче. Тогда столь сокрушены были мои духи силою, которую Амор получил, увидев меня столь близко от благороднейшей госпожи, что в живых остались лишь духи зрения... Тогда я сочинил сонет...» («Новая жизнь»).

У Чингиза встреча с любовью была совсем иной. Его Беатриче явилась в чистом поле, на фоне желтеющей пшеничной нивы и вечных гор. Всё было просто, как прост бывает первый каравай, испечённый из собранной в поле пшеницы, и всё было чисто, как чиста и прозрачна утренняя роса. Его Джамиля явилась в облике жизнерадостно-весёлой, никогда не унывающей, но душевно тонкой киргизской невесты в простенькой белой косынке. Только вот любила она другого, вовсе не Чингиза, а он, наивный, не знающий, что такое ревность и любовь, подросток *влюбился в любовь других.*

«Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит её. Но она ничего мне не говорила. Молча клала она на мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на неё снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и,

казалось, узнавал в ней себя. Её тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в её душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться в себе, что влюблена, так же, как и я не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце концов она невестка моих родителей, она жена моего брата!

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть её по-детски приоткрытые чуткие губы, видеть её глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало её лицо! Тогда я только видел всё это, но не всё понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашёл ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звёзды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой тёмной дали. Мы с Джамилёй шли за ним.

Я был потрясён. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюблённых. А они не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шёл и смотрел, как они, позабыв обо всём на свет, вместе покачивались в такт песне.

...Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их».

Для юного Чингиза это было настоящим пришествием мадонны, любовью, всем тем, что потом его никогда не оставит. Немногие свидетели этой истории утверждают, что всё так и было: влюблённые и их побег или уход из села, похожий на изгнание Адама и Евы из Эдема. Изгнание, правда, не бесповоротное, — несколько лет спустя девушка вернулась в родное село, одна. Только это была уже не та Джамия, которую хорошо знали. Жизнь семейная у неё не удалась. Как ни печально, после возвращения не было и того сердечного отношения к ней сельчан, какое было до ухода с любимым мужчиной. Она была отвергнута местным джамаатом, окружена если не презрением, то тайным недоброжелательством и насмешками соседок, воспринималась как падший ангел.

Много ещё испытаний и потрясений, в том числе душевных,

сердечных, перенесёт Чингиз Айтматов, но та первая Беатриче, или Мона Лиза, в белой косынке, пахнувшая не изысканными духами, а полынной горечью таласской степи, останется с ним навсегда. Джамиля в его памяти сохранилась в облике своеобразной «вечной невесты». Даже в последнем своём романе «Когда падают горы», с его подзаголовком «Вечная невеста», Айтматов возвращается к теме любви. Правда, это любовь несчастная и несбывшаяся, но и на книге-прощании лежит негасимый отблеск той молнии, что ослепила его много лет назад. На этот раз мадонна явилась в облике Айданы, любимой, но недостижимой женщины Арсена Саманчина, главного героя романа, журналиста и киносценариста, «друга Горбачёва» и деятеля, «летавшего в легендарной стае вдохновителей перестройки» середины 1980-х годов в СССР.

Любой сколько-нибудь прилежный читатель Айтматова легко убедится, что его женщины очень похожи одна на другую — все они напоминают знаменитую «Дочь Советской Киргизии» кисти Семёна Чуйкова. И Толгонай из «Материнского поля», и Алтынай из «Первого учителя», и Джамиля, и Зарипа из «И дольше века длится день», даже Айдана из последнего романа «Когда падают горы» — при всей своей индивидуальности и *внутренней* непохожести они *внешне* сходны между собой.

О своих первых любовных привязанностях Чингиз Торекулович не вспоминал, но для меня совершенно ясно, что между подростком Сейитом в «Джамиле» и им самим существует самая прямая связь. Джамиля, круглолицая, жизнерадостно-весёлая киргизская мадонна — это айтматовский символ женской красоты, и духовной, и плотской.

В то же время «Джамиля» — не только прекрасная история любви, столь восхитившая Луи Арагона, но и история рождения художника, психоаналитическое описание творческой сублимации, появления огромной, всепожирающей тяги к творчеству.

Эта история любви бесспорно перевернула внутреннюю жизнь Айтматова. Правы оказались французы: нельзя шутить с любовью, как гласит их пословица. Да, сказано правильно, но беда в том, что управлять этим сильным, очень часто труднообъяснимым чувством редко кому удаётся. Особенно если любовь сильная, настоящая, непреходящая. Поэтому там, где любовь, там и напасть, говорят те же французы.

ГОДЫ УЧЁБЫ

Между Аполлоном и Сатурном

Чингиз Торекулович Айтматов в зрелые годы был одним из самых просвещённых людей своего времени, человеком с широким кругозором и обширными познаниями в разных областях, чему немало способствовало базовое образование. Аграрию по специальности, зоотехнику, прекрасному знатоку животноводства, ему была не понаслышке знакома жизнь простых тружеников. Но при этом он постигал и превосходно знал мировую литературу, интересовался философией, очень любил классическую и народную музыку.

Люди, близко знавшие молодого Айтматова, свидетельствуют, что пристрастился он к книге в детские и юношеские годы. Чтение было для него подлинной страстью. Курсант Джамбульского зооветтехникума, он буквально тонул в книгах городской библиотеки, нередко просил, чтобы его запирали в ней до утра — настолько не хотелось отрываться от чтения. И просьбы его находили отклик. Жажда знаний, огромное желание приобщиться к мировой культуре были в его крови.

В этой связи хотелось бы отметить, что судьба художника с самого начала его сознательной жизни двигалась в том направлении, чтобы из него вырос интересный рассказчик. Ему было о чём рассказать людям. Всё в жизни молодого Чингиза происходило так, чтобы из него получился писатель, потому что и самые суровые жизненные испытания, и двуязычная (киргизско-русская) среда, в которой он рос, и тяжёлое военное детство, и совершенно взрослая юность, глубокое погружение в мир книг, последующее институтское образование, высшие литературные курсы в Москве — всё «работало» на эту цель.

Иными словами, ранний жизненный опыт у него обильно подпитывался книжными знаниями, постепенно формировался эстетический вкус. Думается, примерно в эти годы у Айтматова сложилось то, что потом литературоведы назовут глобализмом художественного мышления, имперскостью обобщений, эсхатологизмом мироощущения.

Склонность к большим, широким обобщениям, стремление находить в мелочах жизни нечто, превышающее их конкретное содержание, проявлялось у него ещё в детстве. Быть может, длительное (почти пять

суток) и печальное путешествие семьи из Москвы во Фрунзе заронило в его детскую душу и ум ощущение связанности мира, чувство единства земли, кровной близости людей, где бы они ни жили и на каких бы языках ни говорили. Ещё в детстве Чингиз своим детским умом пытался понять, как связаны народы и различные страны: железной ли дорогой, воздушными ли путями, на которых в то время устанавливались различные рекорды (например, о легендарном лётчике-испытателе Чкалове знал каждый советский школьник). Чингиз всё время пытался понять, как можно объять весь мир, как уловить те нити или связующие звенья, которые придают миру цельность и единство. Уж не тучи ли это — путешественницы, передвигающиеся по небу и не знающие ни границ, ни препятствий в виде высоких гор и океанских далей?

У Георгия Гачева, одного из блестящих знатоков творчества Айтматова, есть заметки о железной дороге, которая киргизским писателем воспринималась несколько мистически, некой загадочной металлической «нитью», опоясывающей весь мир, проводником какой-то энергии, обеспечивающей единство мира, «разных судеб соединённость», выражаясь словами Евгения Евтушенко. Всемирно известными стали айтматовские пассажи о поездах, мчащихся с востока на запад, с запада на восток по Сары-Озекским саваннам, повторяющиеся, как рефрен, в романе «И дольше века длится день».

«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли жёлтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад, с запада на восток...»

Затем у Айтматова появился обруч, опоясывающий мир. Творческое воображение Чингиза ещё чуть ли не в детстве волновали и журавли — любимые образы его нескольких шедевров, включая повесть, которая так и называется — «Ранние журавли». Одна из его статей озаглавлена «Ветры, омывающие землю». Позже, в повести «Белое облако Чингиз-хана» возникнут замечательные литературно-философские импровизации о тучах-странницах. В конце концов Айтматов пришёл к философскому выводу, что мир может объять только мысль, только слово, её выражающее.

В упомянутой статье «Ветры, омывающие землю» Айтматов наиболее точно выразил своё понимание того, что ещё Гёте назвал всемирной литературой. «Никакая литература не может сегодня полноценно

развиваться вне контактов. И разговор о любой литературе будет неполным, если не рассматривать её частью всей мировой культуры. ... Поэтому каждая литература, стремящаяся к прогрессу, должна судить себя максимальнейшими критериями. Только так можно рассчитывать на преодоление замкнутости и провинциализма, только ориентиры мировой литературы должны быть мерилom профессионального мастерства»^[11].

Иными словами, Чингиза Айтматова с детства увлекала мысль о соединении мира, идея связанности людей и народов. В этом смысле он, как писатель, выросший на просторах громадной евразийской державы под названием Советский Союз, всем пафосом своего творчества и взглядами предстал неким литературным антиподом Редьярда Киплинга, ещё одного выразителя духовной имперскости, говорившего, наоборот, о раздельности Запада и Востока.

Особо следует сказать и о ландшафте Таласа, где он провёл самые трудные и в то же время самые поучительные, в творческом плане крайне плодоносные годы.

Талас — это красивейшая долина севера Киргизстана, примыкающая к Казахстану. Здесь казахские степи подходят вплотную к киргизским горам и, сужаясь в верховьях, плавно переходят в широкую долину, которую окаймляют белоснежные вершины и высокие перевалы. И этот удивительный, поистине эпический ландшафт Таласа, земли легендарного Манаса Великодушного, напоминающий открытую ладонь, не мог не отразиться в художественном мышлении Айтматова, в его мировидении. Не случайно его сборник прозы, удостоенный Ленинской премии в 1963 году, назывался «Повести гор и степей».

Писатель оставил целый ряд очень интересных воспоминаний и заметок о своей учёбе в казахском городе Джамбуле, ныне Таразе, а раньше, в первые послевоенные годы, Аулие-Ата. Как правило, он приходил сюда из дома пешком, садясь на коня только если предлагал кто-нибудь из едущих мимо. А расстояние между селом, где жили мать, вся его семья, и Джамбулом было приличным — километров 30-40. Но именно здесь, в зооветеринарном училище он восполнял то, чего не давали в школе в киргизском Таласе. Читали лекции и вели семинарские занятия специалисты, эвакуированные из России и Украины. Чингиз Торекулович до конца своих дней с большой теплотой вспоминал об одном из них, который был прекрасным знатоком не только животноводства, но обладал обширными знаниями, далеко выходящими за пределы своей области. Правда, не обходилось и без курьёзов. Об одном из них рассказывал сам писатель: «Дело в том, что в годы, когда отец был репрессирован, и в

последовавшие за этим годы войны я проживал большей частью у тётки Каракыз, отцовской сестры. Она возлагала на меня великие надежды, полагая почему-то, что я буду большим человеком — парторгом, прокурором или ещё кем-либо в этом роде. В её понимании она делала для этого всё зависящее от неё, очень старалась, чтобы я учился в городе. Она отдавала мне последние гроши, готовила мне про запас талкан. И вот какую шутку сыграла со мной жизнь.

Параллельно с ежедневными лекциями у нас шли практические занятия. Пройдя курсы лекций «Коневодство», «Овцеводство», мы вдруг перешли к теме «Ословодство». Поначалу мы смеялись, иронизировали: эка невидаль, осёл. Вот ещё, не хватало изучать его! На деле оказалось иначе. Как стало нам известно, вислоухое и ревущее ослиное племя издревле ведёт свой род, подразделяется на различные породы, виды, масти, то бишь и осёл ослу — рознь. Преподаватель наш был русский, строгий пожилой человек, отличный знаток своего предмета — коневодства, эвакуировавшийся в Казахстан из блокадного Ленинграда. Подсобного хозяйства для практических занятий в техникуме не было. Для этих целей профессор обычно водил студентов на Жамбылский скотный рынок «Атшабар». Так было и на сей раз. По воскресным дням здесь царил светопреставление: из близлежащих аулов, из киргизского Таласа валил люд покупать и продавать скот. В толпе, ловко проворачивая сделки, сновали шустрые посредники. Мы выбрали подходящий «длинноухий экспонат».

— Студент Айтматов, — сверкнув очками, повернулся ко мне профессор, читавший нам накануне лекцию «Роль осла в цивилизации человечества». — Поведайте-ка нам, что вы знаете об этом благородном животном?

— Это животное поначалу было распространено на континентах Африки и Азии, — вдохновенно начал я. — В настоящее время оно встречается в Сирии, Кашмире, Тибете, Туркмении, Узбекистане, Казахстане и Киргизстане, а также в Монголии. В основном ослов используют как домашний тягловый скот. Как вы видите сами, ослы отличаются от другого скота длиной своих ушей, имеют они также длинный, тонкий хвост. Потомство вынашивают двенадцать месяцев...

И тут на полуслове я вдруг с ужасом узнал хозяина этого злополучного ишака. Им оказался сосед моего дяди Досады и тётушки Каракыз из аила. Озадаченный, выпучив глаза, он с величайшим изумлением наблюдал, как я, пристав к его ослу, страстно рассказываю всю его родословную. Я готов был сквозь землю провалиться. У меня даже голос пропал. Но разве мог это

понять профессор?

— Студент Айтматов, почему вы замолчали? Продолжайте! Чем ещё отличается серый осёл от других ослов? — напирал он. От смущения меня даже пот прошиб.

Так вот, вернувшись в Шекер, этот почтенный аксакал растрезвонил на весь аил, чему-де я обучаюсь в городе. А в конце сороковых в аиле особо почитались такие профессии, как судья, прокурор, милиционер. Бытовала даже частушка: «Чтоб в милиции служил твой муженёк, чтоб индийский распивать тебе чаек!» Мои родные, тётушка и дядя, очень гордились, что я учусь в городе. Считалось, что я обрету уважаемую профессию и, вернувшись, даст Аллах, выйду в большие люди. Во время моих приездов они ничего не жалели для меня, старались посытнее накормить, совали мне последние свои копейки. Услышав же рассказ соседа, они не знали, плакать им или смеяться.

Когда я прибыл на каникулы, Каракыз-эже, печально воззрившись на меня, вздохнула:

— Что-то люди поговаривают, будто ты там, в городе, обучаешься ослиной науке. Как же это понимать, милый мой? Или другой учёбы для тебя не нашлось? Если уж так хочется тебе ишаков изучать, так ведь их здесь, в аиле, хватает... По сей день помню, как вспыхнул со стыда и как хотелось мне оправдаться перед моими добрейшими родными, мечтавшими о моём расчудесном будущем. Их простодушие и детская наивность, столь свойственные людям из народа, кстати, и есть одно из положений той самой «степной академии», в какой я и учился в те годы».

Оба учебных заведения Чингиз закончил с отличием, намеревался даже вступить на стезю науки и стать учёным-селекционером. Его заметил академик Михаил Луцихин, выдающийся селекционер, выведший знаменитую киргизскую тонкорунную породу овец, даже звал к себе в аспирантуру. Может, Айтматов и стал бы учёным, но тут опять помешал ярлык «сына врага народа», и после чьего-то доноса его не приняли. Это был новый болезненный удар, заставивший крепко задуматься о своём будущем, о своей карьере. Тем не менее Айтматову удалось устроиться рядовым зоотехником на экспериментальную ферму КирНИИЖ (Киргизского научно-исследовательского института животноводства).

В августе 1953 года появилась возможность перевезти семью из Таласа во Фрунзе, где молодому сотруднику выделили двухкомнатную ведомственную квартиру. Аспирантом Чингиз не стал, но в бытовом плане, как пишет его сестра Роза Айтматова, получилось даже лучше, чем если бы стал.

Иное дело, что именно в эти годы перед ним вновь стала мучительная проблема выбора пути. Всё шло как будто к тому, что он станет заниматься зоотехникой, животноводством, но душа требовала совершенно другого — ему не давало покоя то, что он с самого начала счёл своей *обязанностью, человеческим долгом*. Айтматов хотел писать. Он хотел поделиться тем, что узнал и успел пережить. Но не так-то просто было откликнуться на зов сердца. Чингиз был старшим в семье, и благополучие её, пусть самое скромное, в немалой степени зависело от него. Мать — инвалид второй группы — болела, забота о родных лежала на его плечах.

И всё же дувший в стране ветер перемен способствовал — при всех бытовых трудностях — окончательному профессиональному самоопределению Чингиза Айтматова. XX съезд Коммунистической партии 1956 года, знаменитый антисталинский доклад Никиты Хрущёва на нём всколыхнули всех. Для Айтматовых, как и для миллионов других советских семей сдвиги в обществе имели, помимо всего прочего, огромное личное значение: началась эпоха реабилитации жертв террора 1937—1938 годов, и Торекулу, как и множеству его товарищей по несчастной судьбе, вернули доброе имя.

В обществе заметно потеплело, и раньше, острее иных новую атмосферу ощутила художественная культура.

Примерно на эти годы приходятся первые литературные опыты Чингиза Айтматова. Одинаково свободно владея обоими языками, на хлеб насущный он, наверное, мог бы заработать переводами с киргизского на русский и обратно. Но карьера профессионального переводчика его, кажется, не увлекала — тянуло к оригинальному творчеству, к повествовательной прозе, которую он, по внутреннему самоощущению, тоже способен был сочинять и на киргизском, и на русском. Иное дело, что требовалась выучка, да и приобщение к литературной среде.

И Чингиз постепенно начал заводить знакомства с местными писателями, ходить на литературные собрания. Оказались очень полезными связи с вдумчивым писателем и прекрасным переводчиком Узакбаем Абдукаимовым, автором единственного военного романа в киргизской литературе «Майдан», и Райканом Шукурбековым, талантливым поэтом и драматургом, тоже переводчиком, в некотором роде земляком — он был из Таласа. Они сразу угадали в молодом человеке искреннюю тягу к творчеству, поддержали советом и теплом, пожелали доброго и счастливого пути.

Примерно в то же время Айтматов всё же попробовал себя и в переводе, движимый, по позднейшему признанию, стремлением

представить киргизскому читателю «лучшие книги о войне». «Я принялся переводить “Сын полка” В. Катаева и “Белую берёзу” М. Бубеннова на свой риск и страх, не имея представления о том, что такое художественный перевод и как издаются книги. Потом, когда принёс в издательство свои переводы, мне сказали, что книги эти давно переведены и скоро выйдут из печати. Тогда было очень обидно, но именно это и явилось началом моей литературной работы. Будучи студентом, писал в газетах небольшие заметки, статьи, очерки»^[12]..

Так или иначе выбор был сделан: победил Аполлон, покровитель искусств и красоты, а не Сатурн, бог плодородия и земледелия. В 1956 году Чингиз Айтматов поступил на Высшие литературные курсы в Москве, и через год «Октябрь» опубликовал его небольшую повесть «Лицом к лицу». Это была уже не проба пера, — работа, пусть молодого, но мастера, художника со своим видением жизни и своей гражданской позицией.

Перед ним открывались совершенно невиданные просторы и уникальные возможности, о которых он раньше не мог бы даже мечтать.

«ОРЛИНОЕ ПЕРО, УПАВШЕЕ С НЕБЕС...»

С самых первых шагов писательство стало для Чингиза Айтматова, одарённого мощным талантом сказителя, приглашением других к совместной душевной работе, к обдумыванию неких существенных проблем человеческой жизни. *«Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями, потому что не поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу»*, — так он предварял свою повесть «Первый учитель». Фактически это был своеобразный литературный манифест.

«Я не могу иначе — я писать обязан» — это признание точно характеризуют его внутреннее состояние тех лет.

Кстати, известен кинокадр, где Айтматов, сидя у старого, обветшалого дувала, говорит какой-то старухе, что обязательно напишет о ней; земляки писателя полагают, что она и есть прототип Толгонай из «Материнского поля». Коли так, то прототип был воплощённый, ибо к этому времени повесть уже была опубликована.

По словам самого Айтматова, небеса всегда были к нему милостивы, но помимо Божьей благодати, то есть, попросту говоря, литературного таланта, была ещё и его биография, была крайне противоречивая эпоха с её светлыми надеждами в начале и вселенскими катаклизмами в конце. Всё это тоже стало неиссякаемым источником творчества, сформировав в итоге художника-гуманиста мирового уровня. Так складывался стиль с его ясно выраженной исповедальностью. И «Первый учитель», и «Джамиля» написаны от первого лица, от имени живого участника или свидетеля происходящих событий.

В слово Чингиз Айтматов был влюблён безоглядно и верил в его порождающую силу бесконечно. Неутомимый читатель «Манаса», пожизненный пленник этого великого творения киргизского народа, он очень рано осознал, что только слово способно противостоять тлену бытия, что именно оно есть залог бессмертия. А его всегда привлекала тема вечности, он упорно размышлял о сути человеческого долга при жизни, о феномене бессмертия. Айтматов сам перевёл на русский старинное киргизское заклинание о слове человеческом: «Слово доит молоко

Вселенной и кормит нас тем молоком вселенским из рода в род, из века в век. И потому вне Слова, за пределами Слова нет ни Бога, ни Вселенной, и нет в мире силы такой, превосходящей силу Слова, и нет в мире огненного пламени, превосходящего жаром пламя и мощь Слова».

Слово означало для Айтматова нечто заполняющее собою пустоту, интеллектуальное безмолвие вселенной, наделяющее всё сущее смыслом, значением, объясняющее суть круговорота природы и упорядочивающее хаос бытия.

В незаконченном философском рассказе «Плач перелётных птиц» (1972 год) Айтматов размышляет о трагической сути человеческой жизни, о том, что переживёт суету повседневности и сохранится для потомков, останется в людской памяти. Юноше Элеману снится сон, где он — неожиданно для себя — стихами пересказывает эпос «Манас», да так увлечённо и безостановочно, будто он — настоящий манасчи, сказитель эпоса. Проснувшись, он делится своим удивительным сном с отцом. У старика Серкебая больное сердце, и он радуется сну сына, видя в нём добрую примету. Но застигнутый внезапным, на сей раз смертельным приступом, растолковать сон он не успевает. И на смертном одре ему остаётся лишь уповать на то, что Элеман овладеет даром слова, а значит, даром человечности, выше которого ничего не было и нет.

Чингиз Айтматов никогда не увлекался эзотерикой, не верил мистическим гаданиям, магическим знаменам, но вещему сну верил. Верил и судьбе, много говорил о роке, о некой предопределённости. «Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда, — писал он в романе «Когда падают горы», — и никто не волен знать наперёд, что есть судьба, что написано ему на роду, — только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою... Так было всегда от сотворения мира, ещё от Адама и Евы, изгнанных из рая, — тоже ведь судьба — и с тех пор тайна судьбы остаётся вечной загадкой для всех и для каждого, из века в век, изо дня в день, всякий час и всякую минуту».

Таков удел человеческий в самом общем смысле. Судьбу же самого Айтматова предопределили несколько вещей: Москва, русский язык и встреча с великим казахским романистом и учёным Мухтаром Ауэзовым.

Годы, проведённые будущим писателем в Москве на Высших литературных курсах, были самыми плодотворными и, как он любил говорить, судьбоносными. Именно в Москве он узнал знаменитого не только в Казахстане и Киргизстане, но и во всём Советском Союзе автора великого романа «Путь Абая».

То была и впрямь судьбоносная встреча. Выяснилось, что Мухтар

Омарханович хорошо знал отца Чингиза, знал и киргизских писателей, но главное, давно и основательно занимался эпосом «Манас». То есть между маститым писателем и молодым киргизским литератором обнаружилось много общего и это была огромная удача для Айтматова. В лице Ауэзова у него появился наставник, а в определённом смысле и покровитель. Именно он в недалёком будущем обратит внимание доброго своего знакомого Луи Арагона на повесть «Джамиля».

Словом, годы тяжелейших испытаний заканчивались, и началась дорога, которая приведёт писателя на вершины славы, сначала всесоюзной, а потом и мировой.

Находясь в Москве, напряжённо и с увлечением учась, Чингиз упорно продолжал думать об отце, о его судьбе. Из заключения возвращались люди, невинно осуждённые, и это порождало смутные надежды, что и Торекул, быть может, не сгинул в ГУЛАГе. 15 июля 1956 года Чингиз Айтматов отправил в высшие судебные инстанции страны жалобу. Вот её полный текст:

ЖАЛОБА

Вот уже 20 лет мы не имеем никаких вестей о судьбе отца, не знаем, жив он или нет, когда осуждён, кем осуждён, не знаем, действительно ли он виноват перед родиной. Эти вопросы возникают у нас потому, что на протяжении всего этого времени мы всегда мучительно переживали свершившееся событие и в душе никак не могли поверить в преступность отца перед советской властью, за которую он боролся в самые тяжёлые годы установления и упрочения её в Средней Азии... Насколько мне известно, мой отец честно и добросовестно работал секретарём Кир. Обкома ВКП(б) и на других ответственных партийных и государственных постах. В последнее время он учился в Москве в институте Марксизма-ленинизма, оканчивал завершающий курс. Сейчас, когда партия приступила к справедливому пересмотру минувших событий 1937года, мы с нетерпением ждём сообщений об участи отца. От этого зависит не только его личная судьба, но и нашей семьи... Например, по этой причине меня не приняли в аспирантуру, несмотря на то, что имел все данные для поступления. Точно так же поступили с моим младшим братом, окончившим Московский Геологоразведочный институт. А сестру, окончившую среднюю школу в 1954 году, не приняли на учёбу в Московский вуз, хотя по конкурсу, организованному у нас (в Киргизии) для отбора

студентов в центральные вузы, она прошла с самыми лучшими результатами. В конце концов, дело даже не в этом, может быть, это мелочи, о которых не следовало даже говорить, однако нам важно добиться истины, восстановить незапятнанную честь отца и нашей семьи перед народом.

Айтматов Чингиз, 15 июля 1956 Киргизская ССР, с. Чон-Арык.

Официальный ответ семья Айтматовых получила только в августе 1957 года. В нём было приглашение кому-нибудь из членов семьи срочно прибыть в отделение КГБ во Фрунзе.

Сколько времени Айтматовы, и прежде всего Нагима, ждали этого момента, и вот он наступил.

Вдруг муж и отец всё-таки жив, а если нет его на свете, то как ушёл и где похоронен. Чингиз тогда прихварывал, и во Фрунзе поехали мать с младшей дочерью.

Вспоминает Роза Торекуловна Айтматова:

«Мама была инвалидом второй группы, ей было очень трудно ходить, передвигаться. А тут она обо всём забыла. Быстро оделась, взяла все документы и стала торопить меня. Тогда я про себя думала, что если бы наш отец был жив, то нашёл бы способ передать нам о себе какое-нибудь известие. Уж за двадцать лет мог бы это сделать... И сейчас, когда мы собирались в НКВД, эта мысль вновь и вновь возвращалась ко мне. Но маме я ничего не говорила.

Она вся преобразилась: у неё порозовели щеки, зеленоватые глаза ярко засияли, движения стали уверенными и бодрыми. Мама вмиг помолодела! Мы быстро дошли до остановки и стали ждать автобус.

— Ты знаешь, наверное, отец ваш был в Сибири или на Дальнем Востоке. Сейчас же много людей возвращается оттуда. Может быть, он там женился и дети уже есть. Он же мужчина. А мужчины жить не могут одни, они не приспособлены. Пусть, лишь бы был жив! Если сейчас он увидит вас, представляешь, как обрадуется! Ведь как он любил детей! Жаль, не видел, как вы росли. А ведь видеть, как ребёнок делает первый шаг, как начинает говорить, а потом радоваться успехам, которые он делает в подростковом возрасте, видеть юношество своих детей — это же счастье для человека. Не пришлось ему всё это испытать. Вон Чингиз с Ильгизом уже стали взрослыми, женились, детей имеют, а вы с Люсей — юные девушки. Ничего, и сейчас не поздно. А если он увидит моего Санжара... Внуки — это такое счастье, они слаще детей...

Тут подошёл автобус, мы сели. Мама и в дороге без усталости говорила, она была уверена, что сейчас встретится с Торекулом.

— Интересно, каким он стал? Лишь бы был здоров. Ах, каким он был джигитом! И умница, и грамотный. А каким он был заботливым семьянином!

Чтобы как-то отвлечь её, я спросила:

— Мама, а как вы познакомились?

— О-о! Это, наверное, произошло по велению судьбы. Я была на работе, писала что-то. Вдруг резко открылась дверь, и к нам в кабинет зашёл красавец джигит. Всё было в нём: рост, стать, красивые волосы, искрящиеся иссиня-чёрные глаза. Меня как током ударило! — улыбнулась мама.

Мы прибыли на угол улиц Киевская и Логвиненко, подошли к аккуратному зданию — НКВД. У входа стоял солдат с автоматом наперевес. Мама показала ему приглашение.

— Вы проходите, — указал он на маму, а мне сказал:

— А вы подождите здесь.

Через некоторое время мама вышла обратно. Она была бледная, серая, как зола, глаза потухшие, едва передвигала ноги. Я сразу поняла, что случилось. Усилием воли сдержала слёзы: плакать нельзя было, иначе маме станет ещё хуже. Я ничего не сказала. Она дала мне листок бумаги — «кара кагаз», которая извещала о том, что Торекул Айтматов погиб, его больше нет. Это была справка Военной Коллегии Верховного Суда СССР о посмертной реабилитации Т. Айтматова.

Когда, где и по какой причине погиб отец, оставалось неизвестным. Мама, которая совсем недавно без устали говорила, сейчас молчала, тоже не произнесла ни слова.

— Когда придём домой, не будем плакать, чтобы не расстраивать Чингиза, а то, не дай бог, сляжет совсем, — мама пыталась сдержать себя. — Что ж, придётся подчиняться судьбе. Теперь ничего не изменишь, — тяжело вздохнула она.

Через некоторое время, когда Чингизу стало лучше и он пошёл на поправку, из аила приехала Карагыз-апа, видимо, её вызвали. Мама сообщила ей грустную новость о смерти её брата Торекула. Они, обнявшись, долго плакали, вспоминали и в итоге — смирились».

Так закончилось столь долгое ожидание. Но получить даже самую горькую весть было лучше, чем всю жизнь ждать и не знать, жив отец или нет.

Трагическая доля отца на всю жизнь осталась у сына незаживающей сердечной раной. А ведь надо ещё иметь в виду, что поколение Торекула Айтматова выросло на идеях большевизма, в Ленине видело чуть ли не

духовного отца, путеводную звезду, идола. И вот его верный ученик — «отец» — принёс им огромные несчастья. Это был сокрушительный удар по психологии людей не только этого поколения, но и их детей тоже.

Трудно найти семью в Киргизстане, судьба которой была бы связана с политикой, вернее, с изменениями политического климата в стране теснее, чем у Айтматовых. С кончиной Иосифа Сталина в марте 1953 года и начавшейся «оттепелью» в Советском Союзе происходили важные изменения и в жизни Чингиза. Но даже в постсталинское время столь долгое сиротство и безотцовщина долго ещё давали себе знать. Клеймо сына «врага народа», следы пережитых страданий, унижений, невольного стыда и постоянного, неизбывного желания кричать, доказывать, что отец не виноват, что он был честен и предан своему делу, — всё это продолжало жить в нём.

У выдающегося поэта Юрия Кузнецова, этого «сумеречного ангела русской поэзии XX века», есть стихотворение «Отец»:

Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на свете.
Взгляни на мать — она сплошной рубец.
Такая рана видит даже ветер.
На эту боль нет старости, отец.
Но вдовьем ложе памятью скорбя,
Она детей просила у тебя.
Подобно вспышкам на далёких тучах,
Дарила миру призраков летучих.
Сестёр и братьев, выросших в мозгу...
Кому об этом рассказать смогу?
Мне у могилы не просить участия,
Чего мне ждать?.. Летит за годом год.
Отец! — кричу. Ты не принёс нам счастья!.. —
Мать в ужасе мне закрывает рот.

Эти строки — про самых разных «отцов» советского времени: может быть, и про «отца» Ленина, как его называли почти все поэты Киргизстана старшего поколения, и про «отца» Сталина, причинившего всему

советскому народу столько горя. Эти строки — о страхе и слезах поколений, выросших в 1930-е и 1940-е.

Михаил Александрович Рудов, киргизстанский литературовед и переводчик, приятель Айтматова ещё с тех молодых лет, рассказывал автору этих строк, как Чингиз, уже молодой писатель (дело было в 1950-е), был очень бедно одет и как сразу бросался в глаза его «сиротский» облик обиженного жизнью человека, которого словно ни на минуту не оставляло какое-то внутреннее напряжение: «Вполне возможно, что сиротский облик Чингиза я лучше других узнавал и чувствовал, потому что сам вырос в детском доме, знал, как сиротство выдаёт себя даже во взрослое время».

Меж тем Чингиз Айтматов, которому скоро исполнится тридцать, писал всё более и более активно.

Литература сделалась его судьбой.

Он очень редко делился тем, что Анна Ахматова называла «тайнами ремесла», у него не было привычки комментировать собственные тексты, хотя в полемику, отстаивая свои взгляды на литературу, ему вступать приходилось. Он определённо рассматривал своё творчество как некую пророческую или апостольскую миссию, всегда ощущал своё особое предназначение, по крайней мере в киргизском культурно-духовном ареале.

Вновь вспоминается Юрий Кузнецов. Одно из его стихотворений, думается, бросает некоторый отблеск на феномен писателя Айтматова.

Орлиное перо, упавшее с небес,
Вручил мне прохожий или бес.
«Пиши!..» он сказал, и подмигнул хитро:
«Да осенит тебя орлиное перо».
Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой.
С тех пор горный лёд мне сердце тяжелит,
Душа мятётся, а рука парит...

НЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Пробы пера

Итак, первой литературной публикацией Айтматова-писателя стал крохотный рассказ «Газетчик Дзюйо», опубликованный в альманахе «Киргизстан» в 1952 году (№ 2. С. 77). Написан он был на русском языке.

За ним последовали другие произведения, но уже на киргизском и на киргизские темы. Это было время, когда один за другим заявляли о себе дебютанты, те, что выросли в военное время, а иные, раньше времени созревшие, успели понюхать настоящего пороха и многое познать в жизни: и страх смерти, и горечь утрат. Раны, нанесённые войной, саднили, но надо было жить дальше.

В то время, когда Чингиз Айтматов писал свои первые повести, киргизская литература вступала в период глубокого внутреннего обновления. Именно в эту пору в национальный литературный процесс включились представители послевоенного поколения, повсеместно чувствовалось стремление сказать своё слово, найти свою тему, обозначить круг проблем. В литературе активно шла смена поколений; «шестидесятники» ещё не заявили о себе в полный голос, а жизнь уже диктовала новые темы, выдвигала новых героев. В литературе происходили интереснейшие идейные, жанровые, стилевые процессы, бурно развивались и иные виды искусств.

Дебют Айтматова не прошёл мимо внимания критиков и читателей. Его прочитали, имя запомнили, но не более того — никаким событием ранние публикации молодого автора не стали. Они вполне вписывались в литературный пейзаж Киргизии тех лет, ничем в нём не выделяясь. Кроме, пожалуй, свежести взгляда на вещи и языка. Перечитывая эти сочинения, например, повести «Трудная переправа» или рассказы «На реке Байдамтал», «Сыпайчи», «Белый дождь», видишь, что художественное мышление Айтматова формировалось на стыке двух языков — киргизского и русского. Знаменитый айтматовский «гибридный» стиль сложился позднее, но уже с первых шагов он, как художник, учился мыслить на двух языках и оба языка были для него одинаково органичны. Плоды этих учений сказались уже в повести о военном лихолетье «Лицом к лицу», написанной и опубликованной сначала на киргизском языке, в журнале

«Ала-Тоо», а затем и на русском в «Октябре».

Всё предшествующее этой повести известный киргизский критик Кенешбек Асаналиев считает периодом напряжённых поисков себя, своего пути, периодом ученичества, подготовкой к серьёзным темам и новым формам. Иное дело, что даже если автор «На реке Байдамтал» и «Сыпайчи» не поднялся бы над уровнем этих вещей, он всё равно занял бы достойное место в киргизской литературе.

Тот же Асаналиев в мемуарах «Литературная борьба» вспоминает о своём знакомстве с Айтматовым-писателем. Прочитать его повести порекомендовал коллега, философ по образованию Б. Аманалиев, на которого произведения никому ещё не известного автора произвели сильное впечатление. Критик рекомендации последовал и о том не пожалел.

Вот как он оценил эти повести в докладе, прочитанном в Союзе писателей Киргизии: «Автор, как рассказчик, весьма обстоятелен. Он не тороплив, не подгоняет события, но вдумчив и основателен. Его рассказы по своему сюжетостроению, выведению образов особо отличаются среди киргизских писателей». Этот отзыв вполне мог польстить самолюбию начинавшего прозаика, тем более что его автор считался одним из самых принципиальных и смелых критических умов в тогдашней киргизской литературе.

И всё же настоящий Айтматов ещё не родился. Помимо всего прочего, его стесняло неизжитое самоощущение изгоя — «сына врага народа». Ему не хватало внутренней свободы. Относительно недавние партийные постановления, ждановские идеологические тиски, всё ещё свежие примеры судеб писателей и критиков, попавших под каток сталинской государственной машины, постоянно маячили перед глазами молодого Айтматова. Подобная оглядчивость начала постепенно исчезать только после смерти Сталина, а более — после доклада Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС 1956 года «О культе личности и его последствиях». Новый лидер коммунистов СССР наконец прояснил ситуацию, открыл глаза миллионам людей, но особенно тем, кто, как семья Айтматовых, не знал, что думать о своих репрессированных родственниках. Новую эпоху позже назвали «хрущёвской оттепелью» и значение и место её в истории СССР трудно переоценить.

Не наступил идеологическая оттепель, вряд появился бы тот Айтматов, которого мы знаем по «Повестям гор и степей», «Прощай, Гульсары!», «И дольше века длится день», «Плаха» и другим произведениям.

Датировать это рождение можно более или менее точно: 1957 год.

Именно тогда увидела свет повесть «Лицом к лицу». Правда, понято это было не сразу. Когда повесть была опубликована, вспоминал автор, «некоторые критики в республике пытались поставить под сомнение достоверность событий, изображённых в ней, увидели в ней «оскорбление всего киргизского народа», ибо в повести выведен дезертир, изменник Родины, а таких, согласно литературным схемам, быть не могло». Но уже спустя шесть лет она, вместе с другими произведениями, вошедшими в сборник «Повести гор и степей», принесла Айтматову высшую литературную награду страны — Ленинскую премию, а само её появление сочли знаком начинающегося в Киргизии национального Серебряного века — не только в литературе, но и в театральном искусстве, живописи и кинематографе.

РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ:

История киргизской Моны Лизы

...А потом появилась «Джамиля».

Сначала она, опубликованная в журнале «Ала-Тоо», явилась киргизскому читателю.

Потом, со страниц «Нового мира» Твардовского эта мадонна гор и степей заговорила с читателем русским.

И, наконец, обрела мировую аудиторию.

Повесть была переведена на французский, с предисловием Луи Арагона, сравнившим историю любви Джамили и Данияра с историей Паоло и Франчески, Ромео и Джульетты.

В «Джамиле», как заметил в своё время Мухтар Ауэзов, первым высоко оценивший повесть, «событий немного, и с героями тоже происходят внешне как будто не очень большие перемены». Но перемены всё-таки происходят и на поверку получается, что Айтматов написал историю, которая не укладывалась в обычные, традиционные рамки такого рода сюжетов, каких немало было и в киргизской, и в любой иной национальной литературе. Конечно, время идёт, обычаи и нравы меняются, в том числе и патриархальные нравы кочевников, однако в любом случае изображение любви младшего брата к жене брата старшего — явный вызов местной читающей публике. И всё же талант оказался выше устоявшихся представлений — психологическая глубина прозы и её отточенный стиль снискали повести поистине всенародное признание.

Конечно, «Джамиля» — это вдохновенный гимн любви. Но, думается, в ещё большей степени — рассказ о рождении художника, о рождении искусства. А ещё — о святости, о грехопадении, и не напрасно Георгий Гачев усмотрел в повести некую аналогию библейского сказания об Адаме и Еве, пусть даже в айтматовском тексте нет и намёка на сексуальную близость Сейита с Джамилей.

Для молодого Сейита жизнерадостная Джамиля предстаёт идеалом, и в то же время она — загадка, непрочитанная книга, в которой рассыпано множество намёков на то, о чём подросток может только догадываться. В неосознанной тяге юного Сейита к жене брата нет ничего инцестуального,

но есть то, что можно было бы назвать «синдромом Леонардо» — автора бессмертной «Моны Лизы».

Улыбки Моны Лизы пока не разгадал никто, и никто не скажет, чего в ней больше — любви, скрытой греховности, святости, духовной чистоты... То же самое можно, наверное, сказать о Джамиле. Но мы видим, что история любви Данияра и Джамилы, разворачивающаяся на глазах у юноши, порождает другую драму Сейита. И он в конце концов ощущает жгучую потребность в самореализации, хочет рассказать о высоком, идеальном. Мир в его глазах — прежде такой скучный, обыденный и упорядоченный — обретает смысл и содержательность, одухотворяется любовью. Любовь по Айтматову — это и есть смысл жизни, это и есть полнота человечности; без неё жизнь пуста и бессмысленна, без любви нет ни духовного творчества, ни поэзии, ни музыки.

«Любовь — богиня будущего. Без любви не может быть будущего у человека. Любовь — основа жизни. Не будет любви — не будет связанных с нею страстей. И жизнь человека станет опустошённой. И потом, не будет любви — не будет детей, фактора, связующего нас с будущим. Всё, что дано природой, звёздами, Космосом, — любовь в себя включает. Любовь — это симфония, точнее, мировая симфония»^[13].

Первоначально повесть называлась «Обон», то есть «Мелодия». А музыка в «Джамиле» — это камертон, главный смыслообразующий элемент. Вообще повесть Айтматова — это, перефразируя Ницше, рождение любви из духа музыки. А перефразируя другого немца — Фридриха Шиллера, Айтматов мог бы сказать, что именно музыка или некое музыкальное настроение предшествует у него собственно литературному творчеству. Он вполне мог бы подписаться под такими словами Ницше: «Ощущение у меня вначале является без определённого и ясного предмета; таковой образуется лишь впоследствии. Некоторый музыкальный настрой души предваряет всё, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея»^[14].

И Джамиля, и Сейит влюбляются в угрюмого, нелюдимого Данияра за то, что он так прекрасно поёт, поёт о земле, о родине, о красоте мира. Но сама песня Данияра — это голос внутреннего мира героя, сигнал вовне, и этот сигнал с готовностью воспринимается и Джамилёй, и Сейитом. Вместе с тем Айтматов организовал структуру повести так, что читатель почти ничего не знает, что думает о Джамиле Данияр, а она — о Данияре. Мы смотрим на происходящее глазами Сейита, которому отведена (если использовать понятия древнегреческой трагедии) роль своеобразного хора.

В этой связи вспоминается тонкое наблюдение того же Ницше, полагавшего, что даже не сам хор, но именно музыка, «равная по своей силе самому Гераклу», служила основным средством выражения авторской точки зрения на происходящее в античной трагедии.

«Джамиля» была написана, что называется, на одном дыхании. Но потом автор, по собственному признанию, переписывал её как минимум семь раз, что не оградило повесть от недоброжелательной критики. И дело тут не просто в менталитете и традициях киргизов. Автор бросил вызов иным традициям — нормативной эстетике, привычным представлениям о «положительном» герое советской литературы. Более того, тень была брошена на принципы коммунистической морали и «социалистической нравственности». Ведь автор совершенно не осуждает поведение Джамили, чей законный муж не на курорте прохлаждается, а воюет на фронте. Однако жизнь людей оказывается сложнее любой догмы, любых прописных истин. Любовь выше их, и в этом заключается её красота, но в этом же, как утверждает писатель, кроется и её трагизм.

Да, юноша Сейит с самого начала станет свидетелем, невольным соглядатаем за взаимоотношениями Данияра, угрюмого и молчаливого фронтовика, и весёлой, жизнерадостной снохи, к которой он сам испытывает некие полудетские нежные чувства, превращающиеся после побега возлюбленных в безотчётную тоску, невероятное опустошение, в острейшее желание заполнить чем-то эту вдруг обнаружившуюся душевную пропасть. Чтобы чем-то заглушить тоску и отчаяние, он решает воспеть эту историю двух людей, воспроизвести её в красках, стать художником. Так отчаяние, глубокая душевная травма, ощущение раннего одиночества, потеря духовной опоры, становится её же — этой опоры — неожиданным обретением. В повести возникает удивительная атмосфера сопереживания и в то же время острого драматизма, соучастия в этой любовной истории. Вот почему уместно повторить, что главное в повести — это не столько любовь между Данияром и Джамилей, сколько духовная драма самого Сейита, осложнённая разнообразными психологическими, неизжитыми племенными комплексами. Юношу отделяет от Джамили невидимая стена близкородственных связей, он всё время балансирует на очень тонкой грани смутного влечения, ревности и стыда. Тонко чувствуя это обстоятельство, писатель сложные душевные движения героя целомудренно оставляет без подробного анализа; он отдаёт предпочтение исключительно поэтической символике, интуитивным ощущениям, создавая дискурс недосказанности и нераскрытого контекста, хотя в конце повести Сейит всё-таки называет уходящую с Данияром Джамилю

«любимой». Фрейд назвал бы это состояние «перверзными душевными движениями», то есть страданиями, причиняемыми определёнными симптомами.

В повести «Прощай, Гульсары!» есть такие строки: «Гульсары смиренно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У неё белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была ещё недоростком, а он тоже не достиг ещё такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал её голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала лёгким шагом, поблескивая при луне белой звёздочкой во лбу. Хвост и ноги её были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими тёплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почёсывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на её шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на её ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень её не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни».

Но эти слова Айтматов напишет гораздо позже, а в «Джамиле» он больше касался духовных, эмоциональных сторон любви. Эта любовь пробудила в Сейите поэта, художника, который теперь совершенно по-другому смотрит на мир, на людей, на самого себя, на брата. Твёрдо решив, что уедет в город, он пускается в собственное интеллектуальное приключение, ищет свой собственный путь в жизни.

«Я впервые почувствовал тогда, — исповедуетесь лирический герой, — как проснулось во мне что-то новое, чего я ещё не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя. Да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других своё видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчётного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда ещё

не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумлёнными глазами, будто видел всё впервые....

Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу, и эту непонятную радость. Мной овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их»^[15].

Вот Айтматов и нарисовал. Нарисовал, изживая «синдром Леонардо», свою Мону Лизу. Кстати, тот же самый «синдром», вернее сказать, внутренний сюжет описан ещё в одном рассказе Айтматова — «Плач перелётных птиц». Написан он намного позднее, в начале 1970-х, когда нерастраченная влюблённость героя оборачивается неодолимым желанием восполнить внутреннее опустошение, активным духовным творчеством, и сублимируется в непреходящий порыв к художественной самореализации.

Вернёмся, однако, к «Джамиле».

Конечно, нельзя сказать, что в повести описана какая-то совершенно исключительная в киргизском обиходе жизненная ситуация, что уход женщины от нелюбимого мужа среди киргизов является чем-то из ряда вон выходящим. Необычно только одно: подросток поневоле становится соучастником ухода жены своего брата с другим человеком и благословляет этот уход, эту историю любви своим чистым, неокрепшим умом, а ещё больше — сердцем. В жизни по-всякому бывает. Как однажды остроумно заметил Расул Гамзатов, события, аналогичные любовной истории Ромео и Джульетты, на Кавказе случались чуть ли не в каждом ауле, но не было своего Шекспира, чтобы описать их.

Многие современники Айтматова склонны были видеть главное достоинство и новизну повести только в поступке главной героини, знаменующем отход от якобы традиционных представлений о долге и верности. Например, критик Камбаралы Бобулов утверждал, что Джамиля, воспитанная в новых условиях, восстаёт против отношения к женщине как к недочеловеку, что Айтматов на первый план выдвигает «тему личного достоинства женщины»^[16]. Положим, так и есть, но это лишь часть правды. Драма Джамилы — это драма, точнее, трагедия сильной, наделённой богатым душевным и физическим здоровьем женщины, лишь начинающей познавать суть человеческого бытия и вкус жизни. Обстоятельства против неё, и потому мировосприятие героини — мировосприятие трагическое.

Виктор Шкловский в своей книге «Художественная проза. Размышления и разборы», говоря о жизни толстовских героинь, тонко замечает: «В Анне Карениной нет ничего необыкновенного, но она одарена всем как бы чрезмерно; она — человек в его полной сущности, и именно это делает её любовь трагической. Кроме полноты жизненности, Анна ни в чём не виновата...

Наташа Ростова тоже охарактеризована тем, что ей дано слишком много, это должно ей принести несчастье.

Анна Каренина обыкновенна, воспитанна, в ней нет ничего уклоняющегося от обычного, но она настолько сильна, что сламывает это обычное; её несчастье типично, как трагедия полноценности»^[17].

Воля к жизни, активность жизненной позиции, внутренняя раскованность органически присущи личности Джамили. Её трудный выбор всецело разделяет и принимает Сейит. «Нестерпимая обида душила меня, — говорит он, вспоминая семейные скандалы посла ухода Джамили. — Пусть меня считают изменником. Кому я изменял? Семье? Нашему роду? Но я не изменял правде, правде жизни, правде этих двух людей! Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо хотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно в трудный путь за счастьем».

В данной связи нужно ещё раз подчеркнуть: бунт против закостенелых обычаев патриархального уклада жизни, стремление найти своё счастье по велению сердца, по собственному разумению — всё это у нас, киргизов, было, но ещё не было Айтматова, чтобы написать об этом так, как он. Такие сюжеты лежат в основе многих произведений устно-поэтического творчества. Например, в «Семетее», второй части эпической трилогии «Манас», Айчурек, возлюбленная Семетее, сама приходит (вернее прилетает, превратившись в белую лебедь) к суженому за тридевять земель, нарушая заповеди патриархального благочестия, обеты засватанной девушки. Таков и малый эпос «Олжобай и Кишимжан», народная поэма о любви. Эпическое наследие прошлого богато на такие примеры.

В киргизском обществе дореволюционного времени были нередки случаи, когда женщина, насильно выданная замуж, уходила от мужа или бежала из дома, бросая вызов устоявшимся нормам и пытаясь соединить свою судьбу с любимым человеком. Ещё больше их стало после революции 1917 года. Одну из таких историй положила в основу своей поэмы «Дочь Каптагая» («Капатагайдын кызы») известная в своё время киргизская поэтесса Т. Адышева.

«Когда я начал читать повесть киргизского писателя Чингиза Айтматова “Джамиля”, моё сознание вдруг стало излучать неожиданные

для меня самого ассоциации, — пишет российский литературовед и культуролог Георгий Гачев. — В Данияре мне почудились приметы байроновского героя; в развитии характера Джамили я угадывал ренессансное становление личности; в том, что повесть подводит к песне (стихотворению) и заменяет ею всю кульминацию, — я увидел признаки весьма архаической ступени повествовательного жанра (ср. куртуазный роман в Западной Европе), которая надолго утверждалась на Востоке (ср. индийская и арабская проза, постоянно чередующаяся со стихотворными вставками, или китайский классический роман “Сон в Красном Тереме”); а вся коллизия повести — разлом патриархальной слитности индивида с обществом, пробуждение титанического характера, одержимого страстью, смеющего желать, думать и поступать из себя, — напомнила коллизии и античной и шекспировской трагедии»^[18].

Положим, иные ассоциации и положения Гачева дискуссионны, но он прав в главном: в любой национальной культуре, — от примитивного искусства до современных форм — угадываются закономерности всемирного развития. По крайней мере, так сложилась судьба так называемых младописьменных литератур, в частности киргизской, вступившей в XX веке в фазу, по определению того же Гачева, ускоренного развития.

Нельзя сказать, что на родине автора «Джамиля» встретила исключительно восторженный приём. У представителей старшего поколения повесть и вовсе вызвала немалый скепсис. Правда, аксакалы — А. Токомбаев, Т. Сыдыкбекова, К. Джантошев и некоторые другие промолчали, но хорошо известен случай, когда на одном из заседаний Союза писателей Киргизии популярный в ту пору Н. Байтемиров откровенно высмеял автора, поведав собравшимся такой эпизод. Оказывается, в одном из киргизских сел его якобы остановил некий крестьянин, «обычный советский труженик», который поинтересовался «каким-то автором по имени Айтматов». И просил передать, что он хотел бы его хорошенько побить за то, что тот написал о какой-то потаскухе по имени Джамиля, ушедшей из дома, бросив мужа, воевавшего на фронте. Байтемиров рассказал этот случай так, что все писатели открыто хохотали. Автор «Джамиля», оскорблённый и осмеянный, вынужден был встать и выйти из зала...

А вот молодёжь, и в сугубо читательской среде, и в среде профессиональной, встретила повесть весьма благожелательно. Первой написала о «Джамиле» Р. Кыдырбаева, затем К. Бобулов, молодой, но уже заметный тогда критик, а также К. Асаналиев, ставший потом крупнейшим

в Киргизии знатоком творчества Айтматова, другом и близким соратником писателя: он увидел в книгах молодого ещё Чингиза «открытие человека современности».

А литературных публикаций у Айтматова к тому времени уже было немало. За «Джамилёй» последовали «Первый учитель», «Материнское поле», «Тополёк мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», которые вошли в сборник «Повести гор и степей», положивший, можно сказать, начало новой литературной эпохе — айтматовской.

ПО ЖИЗНИ, НЕ ПО ФРЕЙДУ: *Песнь о неубитой любви*

За свою долгую жизнь Чингиз Айтматов пережил немало самых разных испытаний, оказавших влияние на его взгляды. Было время, когда он восхищался достижениями советской власти, коммунистами, не раз принимался воспевать простого труженика, колхозника, железнодорожного рабочего, состоявшего членом партии. А потом наступала пора разочарования в этой власти, в её идеологии, когда он восставал вначале скрыто, намёками, на языке зашифрованных символов, а далее открыто — против советской автократии, особенно Сталина. И всё же в нём всегда оставалось что-то от сына убеждённого коммуниста, проводника идей коммунизма, каким действительно, а не просто на словах, был его отец Торекул Айтматов.

Тем не менее трудно найти во всей киргизской литературе другого писателя, в чьей личной, семейной истории столь же наглядно отразилась бы вся сложная драма развития СССР от становления до развала. В творчестве Айтматова, как в фокусе, запечатлелась эта сложная и в то же время великая история страны, её слёзы и радости, иллюзии и разочарования, её важнейшие вехи и периоды, и, наконец, трагический, внезапный конец. Пережитое лично, пережитое семьёй, пропущенное через ум и сердце отразилось в произведениях, завоевавших широкую известность и вошедших в историю мировой литературы XX века.

Чингиз с малых лет безоглядно верил в советскую власть. Сочувственно относился к ней и в зрелые годы, хотя мощная творческая интуиция позволяла ему ещё в «Прощай, Гульсары!» (1966 год) ставить трудные вопросы и выносить весьма суровые вердикты. Чего стоит выброшенный за борт, сокрушённый морально и опустошённый духовно, всеми забытый старый коммунист Танабай, всё время мечтавший о мировой революции, но завершивший свой путь в полном одиночестве? А его оскоплённый, мучительно умирающий иноходец, этот «человекоконь», кентавр — образно-психологический двойник Танабая?

Известно высказывание Айтматова о том, что в повести «Первый учитель» он хотел выразить своё понимание образа коммуниста, а также эстетики соцреализма. Да только это понимание оказалось соизмеримым

благополучно забытой концепции «положительного героя» и на деле отличалось от уже обновлённых эстетических критериев.

Дюйшен и Алтынай, главные герои этой повести, предстают в финале людьми душевно израненными, психологически измотанными. Алтынай, росшая круглой сиротой в чужом доме, усилиями и самоотверженностью своего учителя Дюйшена получает хорошее образование, достигает немало в своей жизни, становится академиком. Да, успех есть, а счастья как не было, так и нет. Приходится разлучиться с любимым человеком, каким навсегда остаётся первый учитель, и эта разлука омрачает её жизнь, трагически ломает судьбу. Почему всё так устроено в жизни, почему счастье человеческое так труднодостижимо? Или его не существует вовсе? И что значит память человеческая, память нравственная? Айтматов задаётся этими вопросами, но не даёт ответа, во всяком случае прямого и однозначного. Не даёт и не даст, хотя вопрошать будет всю жизнь. Да и откуда ему взяться? У «проклятых вопросов» ответов нет.

Повесть возвращает нас в далёкие 1920-е годы, когда киргизское село только пробуждалось от вековой безграмотности и темноты. Поэтому стремление к свету, идея просвещения волнует ум первого в своём селе учителя Дюйшена. Этот киргизский Прометей зажигает в глуши огонь, обращаясь к сородичам с такими словами:

« Так вот комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью, конечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки ?

Люди засмеялись, как бы прикидывая в уме, куда он гнёт, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость.

— Ты постой, парень, — проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам, школа ?

— Как зачем ? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастёрки лист бумаги, сложенный вчетверо и, торопливо развернув его, поднял над головой:

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю ? Ну, кто против законов Советской власти, кто ? Отвечай!

Он выкрикнул слово “отвечай ” с такой звенящей, гневной силой, что

оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понутив головы».

В этом своём фанатизме Дюйшен трогательно-смешон, когда он с вязанкой курая на спине тащится к заброшенной конюшне, и одновременно героически-монументален. Для Айтматова Дюйшен — эпический герой и одновременно мученик, своеобразный киргизский Дон-Кихот, каким он выглядит, когда голодный и окружённый стеной непонимания пытается растолковать сельчанам амбициозные просветительские планы социализма.

Любовь и моральный долг, преданность и одиночество, бремя всевозможных предрассудков, условностей, отягощающее жизнь людей, — вот содержательная сторона этой самой историчной повести киргизского писателя. Историчной в том смысле, что ни одно произведение Чингиза Айтматова не насыщено столь же плотно, как «Первый учитель», суровой, предельно натуральной материей тех лет. В то же время грустная история любви Дюйшена и Алтынай стала как бы продолжением истории Сейита и Джамили, только в зеркальном отражении. И, быть может, именно в этом повествовании окончательно оформилось то, что стало как бы перманентной философской, мировоззренческой доминантой произведений киргизского мастера — глубокий трагизм, ощущение вечной дисгармонии бытия, мировая скорбь.

«Первый учитель» — рассказ о реальных событиях, случившихся в реальное время в реальном месте. И вместе с тем это философское раздумье над вечными темами счастья, долга и, более того, самого смысла жизни. История Дюйшена — это история покинутого человека, быть может, история забытого подвижничества. Но главное — история несчастной любви. История о том, как два человека нашли друг друга, нашли навсегда, но социум, обстоятельства никак не благоприятствовали тому, чтобы они были вместе. Это стало их трагедией.

Повесть Айтматова, при всём своём лаконизме и бесхитростности сюжета, чрезвычайно многослойна.

Кто для Алтынай её первый учитель? Спаситель, благодетель, первая любовь? Когда к ней, круглой сироте, собирающей кизяк, с открытой душой и улыбкой обращается Дюйшен и приглашает её учиться в его «конюшне»-школе — он для неё старший товарищ и просто славный человек. Это один уровень отношений. Затем он добивается того, чтобы её отпустили, она поступает в школу, и тогда Дюйшен уже не просто первый учитель, но едва ли не идеал личности. Для любви пока места нет, это табу, это воспрещено моралью и культурой.

Но далее по ходу повествования дорогой учитель из наставника и носителя знания превращается в кого-то вроде старшего брата, а затем и в красивого молодого мужчину. Наиболее остро этот сдвиг ощущается, когда Дюйшен, не дающий против воли отдать замуж Алтынай, становится жертвой свирепого избиения. Тут он предстаёт рыцарем, настоящим джигитом. Наконец, он — спаситель, вызволяющий её из рук насильника-мужа.

Исключительным драматизмом и глубокой символикой насыщен эпизод, в котором несчастную Алтынай, обещенную и обогнанную, Дюйшен оставляет у небольшого водопада — привести себя в порядок:

«— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднёс к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедem, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалея. И забудь обо всём, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?»

Наверное, поклонник Фрейда нашёл бы в этой сцене, как и во всей повести, массу скрытых намёков. Но Айтматову-художнику, если уж говорить о культурных ассоциациях, куда ближе Хемингуэй с его эстетикой «айсберга», когда ограничиваясь лаконичными штрихами, многое опускаешь в расчёте на воображение читателя. Так и строится рассказ об отношениях между учителем и ученицей. Безусловно, их связывают глубокие чувства, но вслух о том не говорится ни слова. Называются эти чувства любовью и любовь эта трагична, ибо слишком много было на их пути различных преград и запретов: учитель и ученица, национальные предрассудки, насильно выданная замуж женщина, поруганная девственница и многое иное.

Таким образом бытовая история вырастает под пером Айтматова до уровня высокой трагедии. Да, Алтынай действительно спасена, её не постигла участь тысяч несчастных сирот, так ничего не добившихся в жизни. Она получила хорошее образование, стала видным в стране человеком, но неизбывная печаль на сердце осталась. И, прощаясь на железнодорожной станции, откуда она держала путь в Ташкент, Алтынай

говорит Дюйшену: *«Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понёс меня по равнинам казахской степи и к новой жизни...»*

Прощай, учитель, прощай моя первая школа, прощай, детство, прощай моя первая, никому не высказанная любовь...»

Между тем к революционной тематике, к тематике просветительской киргизская литература обращалась задолго до появления в ней Чингиза Айтматова. Можно привести целый ряд произведений, действие которых происходит в 1920-е годы — их принято называть периодом культурной революции в Киргизии. Время коллективизации, ликвидации неграмотности, эмансипации весьма успешно описывается в литературе довоенных лет. Достаточно назвать такие книги, как «Темир» и «Среди гор» Т. Сыдыкбекова, «Каныбек» К. Джантошева, поэму «Своими глазами» А. Токомбаева, «Долину Курмана» К. Баялинова. Иное дело, что сама эстетика творчества этих и других писателей той поры отличалась явным схематизмом. Как правило, главный герой представал в образе либо батыра-богатыря (как, например, тот же Каныбек из одноимённого романа К. Джантошева), либо жертвы тягот текущей действительности. Таков, к примеру, Самтыр из романа Т. Сыдыкбекова «Среди гор». Образ Самтыра, первого «маленького человека» в киргизской литературе, порой смешон, иногда трогателен в своей наивной непосредственности, но начисто лишён какой бы то ни было индивидуальности. Словом, это был социалистический реализм в его канонической форме.

Нет смысла вдаваться в рассуждения об этом основном «методе» советской литературы, достаточно сказать лишь, что поколение, бесспорным лидером которого в Киргизии стал Чингиз Айтматов, коренным образом трансформировало эту нормативную эстетику. Повесть «Первый учитель» свидетельствует об этом самым красноречивым образом.

Оказалось, что и о «настоящих коммунистах» (как единодушно охарактеризовали Дюйшена местные критики) можно писать страстно и проникновенно. Характерно и то, что почти все критики как Киргизии, так и далеко за её пределами увидели в новом произведении автора повествование о трудных делах просвещения, о заслугах советской власти перед ранее отсталыми народами. Вскоре Андрей Кончаловский снял по нему фильм, который имел большой зрительский успех. На него откликнулся сам Жан-Поль Сартр. Но мало кто из доброжелателей повести обратил внимание на то, что судьба коммунистов-первопроходцев представлена в ней как историческая драма, даже трагедия. Примечательно и то, что в «Первом учителе» Айтматов впервые затронул тему, которая

станет для него впоследствии стержневой, — тему памяти. Памяти исторической и памяти сердца.

Современники первой публикации повести — читатели и критики начала 1960-х — уловили в ней прежде всего публицистические ноты — призыв к новым поколениям выполнить свой моральный долг перед теми, кто в невероятно трудных условиях, ценой огромных жертв закладывал основы новой жизни.

Что ж, в таком прочтении была своя правда — первостроителям действительно было чем гордиться, и далеко не в последнюю очередь новой и весьма эффективной системой образования. И автор тоже отдавал ей должное. Но уже тогда Айтматова беспокоило историческое беспамятство, некий нравственный ущерб, корнящийся в самих основах системы. Понадобилось время, чтобы угол зрения на повесть существенно изменился. Историю, случившуюся много лет назад, прочитали как трагедию, оставившую «сплошные рубцы» на сердце и сломавшую судьбы людей.

Произошло это в перестроечные годы, когда в читательском восприятии тема повести отодвинулась на задний план, превратилась в фоновую величину, а на авансцену вышла символическая судьба двух людей — Алтынай и Дюйшена, их жизненная драма, заключающаяся в том, что в борьбе за социальные права они потеряли личное, человеческое счастье.

САГА О ВОЙНЕ:

«Материнское поле» и «Лицом к лицу»

Известна вековая мудрость: за всё хорошее в жизни мы всегда чем-то расплачиваемся.

Размышляя о жизни Чингиза Айтматова, поневоле думаешь о том, как складывалась она на ветрах, дувших в самых разных, часто противоположных направлениях.

Безоблачное детство, грубо оборванное арестом отца, полные унижений и борьбы за выживание годы. Столичная Москва — и отдалённый Талас. Отрочество в маленьком киргизском селе. Обида, печаль — и встречи с простыми, но невероятно добрыми и отзывчивыми людьми, открывшими ему, как он любил говорить, красоту «человека труда». О том, как Чингиз был крайне чувствителен к чужой беде ещё в детстве, что у него была привычка расплакаться во время просмотра какого-нибудь душещипательного фильма, мы говорили в предыдущих главах. Кроме того, Бог его действительно погладил по голове в том смысле, что у него был удивительный талант воспринимать чужое горе как своё. И вот счастье приобщения к истокам — к народной речи, образному слову, русско-киргизской литературе и культуре — сменилось обрушившимся на всех и на него горем — войной. И улавливал он эти свойства и качества не в орденоносных героях, о которых слагались песни и поэмы, а в самых простых людях, ничем не выделявшихся в обыденной, повседневной жизни.

Вот как сам Айтматов вспоминает военное лихолетье.

«Когда началась война, мне было тринадцать лет. Этим началось открытие большого мира для моего поколения. Самому теперь не верится, в четырнадцать лет от роду я уже работал секретарём аилсовета. В четырнадцать лет я должен был решать довольно сложные общественные и административные вопросы, касающиеся самых различных сторон жизни большого села, да ещё в военное время. Но тогда это не казалось ничем таким из ряда вон выходящим.

... Самое страшное было раздать “чёрную бумагу”, оповестить о гибели близких семьям погибших. И хотя сообщали эту горькую весть с положенным достоинством старики аксакалы и оплакивали погибшего

всем аилом, саму бумагу, “чёрную вестницу”, приходилось вручать на дому мне. Не сразу, попозже, уже после взрыва отчаяния и страданий. И всё равно жутко вынимать из казённой полевой сумки, доставшейся мне по наследству от прежнего секретаря, небольшую, размером с ладонь, печатную бумагу с военным штампом и подписями майоров, капитанов или других штабных лиц. Текста несколько строк. Тихо зачитываю, перевожу слова на киргизский язык и умолкаю. Слышу тяжкий, опустошённый вздох, будто каменистая осыпь зашуршала с горы и поползла, покатила вниз. Трудно поднять мне глаза, хотя я ни в чём не виноват. Я отдаю бумагу. “Спрячьте”, — говорю. И тут сдерживаемый, сдавленный плач матери прорывается вдруг судорожными рыданиями и затем долгим, бесконечно горестным плачем. Неужели эта бумажка дана взамен живого сына?!

Я не могу ни встать, ни уйти, ни утешить. Как тут утешить, какими словами! В такие минуты мне хочется выскочить из дверей, схватить пулемёт, да, именно пулемёт, и бежать с ним без передыху прямо туда, на фронт, откуда пришла эта бумага. И там, крича от ярости и гнева, расстреливать фашистов очередями, очередями из не иссякающего и неумолкающего пулемёта.

...Теперь, по истечении многих лет, я благодарен судьбе, что мне довелось, как говорится, сизмальства встретить интересных достойных людей и сделать тогда, как требовалось.

А требовалось многое в ту тяжкую, суровую пору. Мобилизации шли одна за другой. На фронт, в трудармию, на шахты, на лесозаготовки и даже на Чуйский канал, который продолжали строить и в те годы. Мы не ограничивались вручением людям повесток и положенной при этом канцелярской регистрацией».

Театр военных действий был очень далёк от Киргизстана, но колоссальное напряжение сражений на фронтах чувствовалось и здесь. И делалось всё, что можно было сделать ради победы. Из республики на войну ушли более трёхсот тысяч человек, из них 72 воина стали Героями Советского Союза.

В первый, начальный период своего творчества Айтматов о войне не писал, считал эту тему очень ответственной и сложной, долго не решался взяться за неё. Он писал о послевоенной жизни, о молодых тружениках села, о душевных переживаниях и моральных, духовных исканиях своих современников. Просто не чувствовал себя готовым сказать слово, а в общий хор славословий гений свой голос вплетать не хотел.

Его первая военная повесть «Лицом к лицу» появилась в 1957 году. Написал он её в Москве, будучи слушателем Высших литературных курсов.

Тогда же Айтматов начал, но завершил уже во Фрунзе повесть-реквием «Материнское поле». Опубликована она была сначала в журнале «Ала-Тоо» на киргизском языке, позже, уже в 1963-м, на русском — в «Новом мире». Обе впоследствии вошли в сборник «Повести гор и степей».

Повесть «Лицом к лицу» написана уже зрелым мастером. Ну и, конечно, время поработало — в прежние, сталинские, годы о публикации такого произведения не могло быть и речи, ведь сюжетный его стержень — побег солдата (советского солдата!) с фронта. А дезертирство в те годы в любой его форме равнялось измене родине и каралось жестоко, вплоть до расстрела. Малейшее сочувствие к «изменникам» не могло восприниматься иначе, как отклонение от «ленинских норм», от коммунистической морали и советского патриотизма. Впрочем, даже в годы хрущёвской оттепели тема оставалась рискованной, и Айтматов на этот риск пошёл, рассматривая поведение своего героя в свете высокой человеческой морали и гуманизма.

Дезертирство во время Второй мировой войны, особенно первых её месяцев, было явлением довольно распространённым. Как известно, имели место случаи, когда в руки нацистов сдавались даже целые группы войск. Дезертиры скрывались в горах, в степях Казахстана, за ними гонялся и охотился НКВД.

Как пишут исследователи творчества Айтматова, и в родном селе будущего писателя были свои дезертиры. О них ходили слухи, люди догадывались. В конце концов их поймали и судили. Один из них, приговорённый к длительному сроку заключения в ГУЛАГе, выживший и вернувшийся домой, стал прототипом Исмаила в повести «Лицом к лицу». И чрезвычайно гордился тем, что о нём написал художественное произведение сам Чингиз Айтматов^[19].

Конечно же, писатель ни дезертирства как явления, ни самого дезертира ничуть не оправдывает, хотя ноты сочувствия и уловимы. Он пытается его понять. В его глазах беглеца оправдывает только одно — дома остались больная, престарелая мать, жена с грудным ребёнком. Его возлюбленной Сейде, вначале воспринявшей тайное возвращение мужа как тревожную, но всё-таки радость, ещё предстояло осознать и прочувствовать всю меру своего заблуждения. Ведь война со всеми её слезами, кровью, смертями миллионов — доля всеобщая, доля всех и каждого, и, выходит, муж их предал. Точно так же и сам Исмаил, оказавшийся в тепле родного очага, рядом с близкими, в понятном для себя мире, упрямо гонит от себя мысль, что фактически он предал людей, однополчан, и совершил моральное самоубийство. Исмаил забивает единственную кормилицу соседней многодетной семьи — их дойную

корову, и Сейде выдаёт мужа. Финал повести однозначен и суров — жена, увидев глубокое моральное падение мужа, осознав всю пагубность выбора, выбросившего мужа из общепринятого круга человеческих ценностей и личное своё спасение поставившего выше спасения всего народа, ведёт сотрудников НКВД в пещеру, где скрывается Исмаил.

Таким образом, с появлением айтматовской повести в киргизской прозе была заявлена принципиально новая концепция литературного героя. Главная героиня обрисована в постоянном психологическом развитии, когда мысль прорастает действием, убеждение — поступком. В литературу пришёл герой активной, «трудолюбивой» души и столь же активного поведения. Правда, само это поведение порой отдаёт некоторой театральностью. Постепенное прозрение Сейде изображено сурово и точно, а вот в развязке ощущается некоторая зависимость автора от стереотипов общественного мнения.

Правы были те исследователи, которые указывали на неорганичность такого финала. «Возможно, здесь тема преобразования человека раскрыта излишне прямолинейно, — замечал один русский критик, — но вслед за этой ранней повестью вышла “Джамиля”, где исследование духовных сдвигов ведётся обстоятельно, поэтически возвышенно»^[20].

В общем, в данном случае художник явно уступил идеологу. И всё-таки это никак не дискредитирует попытки писателя понять «падшего» героя и проявить милосердие.

Как известно, спустя почти 30 лет Айтматов добавил к повести несколько новых эпизодов. Случай в литературе не частый, особенно если речь идёт о тексте едва ли не хрестоматийном. Но на него произвёл сильное впечатление роман Валентина Распутина «Живи и помни» (1974 год). Словно бы оглядываясь на него, Айтматов пишет сцену смерти престарелой матери, на похороны которой Исмаил так и не приходит, опасаясь быть схваченным сотрудниками НКВД. Как и героиня Распутина, Сейде беременеет, что должно усугубить драматизм ситуации. Тем не менее идейная суть повести существенно не изменилась.

«Лицом к лицу» — это книга о войне, о том, что внесла она в жизнь простых тружеников села, как радикально поменялись жизненные и моральные ценности людей. Более того, Айтматов, человек и писатель вообще-то сдержанный, для которого сумрачный гений Достоевского, при всём восхищении им, оставался не близок, — отважился заглянуть за грань, где открывается бездна морального падения, крушения человека. В его лирико-психологической повести о дезертире впервые обозначилось то, что критики потом назвали айтматовским гуманизмом. Автор «Повестей гор и

степей» понимал, что каждый человек военного времени живёт в жёстком морально-психологическом климате общества, что он более зависим от общих интересов, нежели от интересов собственных, даже семейных. И в этом писатель уже тогда усматривал основные противоречия человеческой жизни, отдельно взятой личности.

Повесть «Лицом к лицу» стала новым шагом в этом направлении.

А «Материнское поле», ещё одна книга о войне, окончательно закрепила за Айтматовым положение одного из лучших писателей нового поколения не только в Киргизии, но и во всём Советском Союзе.

В художественный центр повести поставлена мать — обыкновенная колхозница, любящая трудиться на поле, видящая в этом своё призвание и находящая душевное, моральное удовлетворение. И вот эта простая женщина не может понять, почему и из-за чего в мире затеваются войны, почему люди убивают друг друга, почему такие люди, как её муж Субанкул, безотказный труженик, и их сын Касым, также любящий работать в поле и выращивать хлеб, должны погибнуть?

О пределах моральной и физической выдержки человека, об испытаниях, которые он готов и может перенести, писатель задумывался давно. Что помогает людям преодолевать боль и страшные потери, не утрачивая в себе человечности, воли к жизни и к труду? Теперь эти раздумья обрели особенную остроту.

«Материнское поле» — это книга о том, что такое истинная человечность и как эту человечность пытается уничтожить война. В ней нет или почти нет традиционных идеологических заклинаний, штампов о «советском патриотизме», нестигаемости советского человека. Это просто повесть о войне, о том, как выдерживают её тяготы простые люди, особенно женщина, мать. Это повесть о том, что такое воля к жизни и откуда она берётся. И берётся она не из лозунгов, висящих на каждом углу, а из любви к людям, к ближнему, к труду, а также из неизбывной веры в торжество добра. По Айтматову, только это способно спасти человека от отчаяния, от потери нравственных ориентиров, от морального саморазрушения. По крайней мере, в таком ключе изображена Толгонай, главная героиня произведения.

Толгонай — это реальное лицо, её хорошо знал писатель, о ней снято даже кино, не раз показанное на экране. Лучшее, что было в её жизни, — это шуршащие колосья пшеницы и встреча во время жатвы с простым сельским парнем Субанкулом, в мозолистых руках которого увиделась ей вся красота рода человеческого. И антигуманная сущность войны в том, что она убивает именно таких людей, пытается вытравить в трудовом человеке

его истинную сущность.

Жизнеутверждающий пафос повести огромен. С начала произведения взят возвышенно-скорбный аккорд, задающий тон всей книге.

«В белом свежевыстиранном платье, в тёмном стёганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идёт по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на просёлках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли ещё стада на стерню.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И ещё постарела. Совсем седея. С посошком.

— Да, старею. Прошёл ещё один год, а у тебя, поле, ещё одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна ?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего ещё не рассказала, Толгонай ?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом ? Думаешь, не обмолвится кто ненароком ?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет всё известно. Ведь он уже подросток, теперь он может узнать и от других. Но для меня он всё ещё дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду, Толгонай».

Доведённая до края человеческих страданий, потерявшая мужа, двоих сыновей женщина думает о том, что и как сказать ребёнку, которого родила сноха, только не от её сына, а от другого мужчины. Саму сноху, Алиман, она ни в чём не винит, — и это, между прочим, один из лучших образов женщин, когда-либо созданных пером Айтматова. Толгонай видит и понимает, что первопричина всех бед — война.

Война и мир, мать и война, неиссякаемость человеческой воли к жизни в произведении подняты на уровень поистине бетховенского трагизма и героики. Красота мирной жизни и нравственная полнота созидательного труда настолько резко контрастируют с бесчеловечной сущностью войны, что те страницы повести, где изображён довоенный быт семьи Толгонай, читаются как высокая ода жизни, труду, радости.

Конечно, трагедию, подобную той, что пережила Толгонай, люди выносят по-разному, и она изображается в литературе в разном идейном и философском ключе. Примерно в то же время, что и «Материнское поле», была опубликована другая весьма заметная повесть — «Солнце не

окончило автопортрет» Кубатбека Джусубалиева, киргизского прозаика более молодого поколения. Герои её, пережившие лишения войны в молодые годы, погружены в настолько глубокое, неизбывное отчаяние, что даже солнце не может внушить им чувство радости и ощущение красоты жизни.

Айтматов строит повествование совершенно иначе. Толгонай потеряла и сына, погибшего на фронте, и сноху Алиман, от которой остался «только росточек — ребёнок», и вообще всех близких. Ей кажется, что лучше «умереть, чем жить так», но это ещё не конец. Это ещё не конец истории, это ещё не конец человека, его жизненных сил. Вслед за Хемингуэем Чингиз Айтматов мог бы повторить: человека можно уничтожить, но нельзя победить. И здесь ни при чём идеалы коммунизма или вообще любых доктрин и учений. Представляя крайнюю степень человеческого отчаяния и безвыходности, писатель неустанно размышляет о путях спасения человеческого в человеке. По убеждению писателя, этот путь может быть найден, если люди ещё способны слышать друг друга, если в душе человека не погибла любовь. Любовь к ближнему, к людям, к жизни.

Айтматов всегда был уверен в том, что мир держится на людях труда, что именно простые труженики являются носителями высочайших моральных и нравственных ценностей. Эти люди — соль земли, её непоколебимый фундамент. Только труд способен возвысить человека и победить эгоизм. Только труд является тем спасительным началом, которое оградит человека от морального и нравственного падения и победит инстинкт разрушения, не допустит всеобщей деградации. В финале повести эта мысль звучит с особенной силой.

«— Мать-земля, почему не падают горы, почему не разливаются озёра, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым ? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы ещё сделали Суванкул и Касым, сколько бы людей одарили они плодами своего труда, сколько ещё полей засеяли бы, сколько ещё зерна намолотили бы... Скажи мне, Мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?»

Айтматов никогда не был приверженцем социал-дарвинизма, вообще не преувеличивал значения биологических факторов в поведении человека. В кругу художников и мыслителей XX века молодой Айтматов среди тех немногих, кто вслед за гуманистами эпохи Ренессанса верил в силу активного добра и бессмертия человеческого духа.

Потом эта стоическая вера несколько пошатнётся, её прежней силы

уже не ощутишь ни в «Прощай, Гульсары!», ни в «Белом пароходе», ни тем более в романах «И дольше века длится день», «Плаха», не говоря уже о романе-прощании «Когда падают горы».

Но в 1960-е годы Айтматов был твёрдо убеждён, что любые трудности жизни преодолимы, испытания истории можно вынести, и, более того, именно они есть лучший индикатор крепости человеческих убеждений и принципов. Это вполне ощущается в «Повестях гор и степей», которым присущ именно высокий пафос, некий идеализм, особенно когда речь идёт о войне. Забегая несколько вперёд, заметим, что самой яркой литературной манифестацией айтматовского активного гуманизма стала повесть «Пегий пёс, бегущий краем моря», написанная в 1980-е годы. В этом произведении люди идут на сознательную смерть не потому только, что исчерпались в них ресурсы биологического выживания, а из высоких гуманистических побуждений. Дальневосточные нивхские рыбаки верят, что смерть во имя жизни не только возможна, но является продолжением самой жизни и, больше того, её торжеством. Но эта повесть станет практически последним произведением Айтматова, в котором гуманистический пафос определяет и поведенческие линии героев, и их дух «благоговения перед жизнью» (Альберт Швейцер).

«Материнское поле» имело огромное количество критических откликов. Некоторые авторы усиленно подчёркивали сходство концепций человека и гуманизма у Айтматова и Шолохова — автора рассказа «Судьба человека». Например, Е. Ветрова писала: «Есть много общего в “Материнском поле” Ч. Айтматова с “Судьбой человека” М. Шолохова. И здесь, и там человек проходит через страшные испытания, убит горем, потерей близких из-за войны. И здесь, и там человек остаётся одиноким. Но Андрей Соколов и Толгонай не сломились, сохранили твёрдую волю, ясное осознание своей правоты и, что самое главное, веру в жизнь, веру в людей. Они воспитывают детей, чужих детей и растят смену»^[21].

Всё верно, только нельзя упускать из виду и то, что повесть Айтматова построена на ином, нежели шолоховский рассказ, философском фундаменте. Да и стилистически это совершенно разная проза. «Судьба человека» написана в лучших традициях русской реалистической школы, что и обусловило её суровую стилистику и иной, нежели у Айтматова, способ манифестации авторских идей. Повесть, несмотря на свой трагический контекст, определённо одухотворена неким возвышенно-героическим пафосом, романтика в ней органично сочетается с реализмом, публицистика в антивоенном духе — с философскими раздумьями. Здесь — свой особый язык символов и знаков, своя художественная

семантика: Мать-Земля, хлебное поле, мужчины-хлеборобы, мальчик — продолжатель человеческого рода, железная дорога, солдат.

Вся исповедь матери, её условно-аллегорический диалог с землёй приобретает общечеловеческое звучание прежде всего потому, что здесь не только прокляты и осуждены война и её виновники, но и с необычайной художественной выразительностью обрисованы люди, на которых испокон веков держится мир и у которых ни война, ни другие превратности судьбы не могут отнять высокие нравственные качества.

Кто-то из современников хорошо сказал об Айтматове, что у него «пламенная душа». Так, Алиман, овдовевшая сноха Толгонай, одна из самых обаятельных и в то же время трагических героинь, зная, что ни Касым, её муж, ни Масалбек, ни Суванкул не вернутся с фронта, с присущей ей страстностью уверяет свекровь: «Вы поверьте мне, мама, сердце мне подсказывает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. Давай подождём, мама, не будем хоронить прежде времени... А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернётся скоро. Никак не должно быть, чтобы из четверых человек ни один не вернулся... А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей».

Далее размышляет вслух Толгонай: «Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ и я с ними буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и грубыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и всё равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его».

В «Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича, появившейся много позже «Материнского поля», приводятся потрясающие документальные факты из жизни ленинградцев в блокадную пору, свидетельствующие о крепости человеческого духа и тела. Авторы книги задаются вопросом: «Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?» И тут же делятся своими мыслями: «Перед нами стали не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные слова возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви.

Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось: вот он, предел страданий, горестей, но другая история открывала нам новые пределы горя,

новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа». И далее: «...Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности».

Чингизу Айтматову должна быть близка эта позиция. Иное дело, что он всегда был далёк от расхожей мысли, будто всё в жизни решает бескомпромиссная вера, убеждённость, — классическое положение теории социалистического реализма. Он одинаково не верил и в дарвинистскую теорию естественного отбора, в инстинкт самосохранения, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что силы человеческие черпаются из многих других источников, как духовных, так и материальных. Но уже в «Материнском поле» Айтматов начал осознавать более общую истину — трагическую противоречивость истории человечества, её стихийность, даже внутреннюю обречённость.

КРУТОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Для Чингиза Айтматова Москва всегда была счастливым, благословенным городом. Тут он провёл самые светлые годы детства, тут учился, тут написал и в центральных толстых журналах опубликовал «Лицом к лицу», «Джамилу» и «Первого учителя». Издание сборника «Повести гор и степей», куда вошли его лучшие произведения конца 1950-х и начала 1960-х годов, стало значительным событием литературной жизни не только Киргизии, но и всего большого Союза. Как мы помним, доброго пути молодому писателю пожелал на страницах «Литературной газеты» прижизненный классик — Мухтар Ауэзов, а после этого напутствия начался буквально обвал откликов в столичной и провинциальной прессе. Успех был триумфальный. За сравнительно короткое время Чингиз Айтматов стал любимцем и читающей публики, и критики. Правда, тут имеется некоторая тонкость. Пресса была невероятно благожелательна, все хвалили, все восторгались, а вот собственно критики не было довольно долго. Её время было ещё впереди.

В Киргизии Айтматов сделался настолько популярен, что любовь к его книгам стала любовью к книге вообще, люди стали гораздо больше читать, пересказывать прочитанное в семье, в кругу друзей и знакомых.

Получилось так, что повести Айтматова порой раньше выходили на русском языке, чем на киргизском, и это тоже придавала писательскому облику Чингиза особую привлекательность, более того, превратило его в некоего флага в общем ареале национальных литератур Советского Союза, особенно младописьменных. Стало ясно, что если пишешь на русском, то и успех будет громче, круг читателей заметно расширится, а там и в большой мир многоязычной аудитории путь откроется. Имелась и серьёзная идеологическая составляющая. Айтматов на своём личном примере как бы доказывал и воплощал торжество советского интернационализма и «ленинской национальной политики», а также демонстрировал силу и возможности «свободного и могучего» русского языка. Можно полагать, что именно это обстоятельство, поддержанное почти единодушным признанием таланта писателя, проложило путь к высшей награде СССР — Ленинской премии.

Она сразу же вознесла Айтматова на литературный пьедестал. Такой громкой славы в Киргизии не было ни у кого. Люди были безмерно

счастливы успеху земляка, на него буквально обрушились и почёт, и привилегии. Благодаря ему вырос и общественный статус литератора. Вместе с тем появились завистники, особенно в кругу признанных литературных аксакалов, давно считавшихся классиками и застывших в своей бронзовой статуарности.

Впрочем, ничего нового в этом не было — ведь молодого, начинающего прозаика Айтматова некоторые его коллеги по цеху считали не более чем выскочкой, в лучшем случае журналистом и публицистом, но никак не писателем.

И право, как можно понять, что вчерашнему сироте и сыну «врага народа» рукоплещет Москва? Многим показалось, что там, в столице, заблуждаются, а у читателей Чингиза дома просто вкусы дурные. А тут ещё скрытая зависть к художнику, прекрасно пишущему на двух языках. Это состояние скрытого, а иногда и явного, но в любом случае жёсткого соперничества Айтматов иносказательно описал впоследствии в своей повести «Прощай, Гульсары!» В ней есть эпизод скачек, когда иноходца Гульсары всячески, любой ценой стремятся оставить позади испытанные скакуны. Но тщетно — конь приходит к финишу первым. «Состояние скакунов было такое, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряжённо вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Тёмно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А тёмно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушёл он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг и слышался оттуда далёкий рёв человеческих голосов. Там, впереди, гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатались двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились всё громче, сильнее! И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары!.. » И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперёд. При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошёл сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу....

Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсары пошёл

выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит».

Ленинская премия, поставившая 35-летнего Айтматова в ряд крупнейших деятелей советской культуры, заставила недоброжелателей поумолкнуть, хотя многие продолжали видеть в этом успехе случайность, каприз судьбы, а иные — чистую политику. Но всё это были уже скорее окололитературные сплетни, ибо успех Чингиза был настолько шумным и ошеломляющим, что публично высказывать подобные суждения и осуждения не отваживались.

Ну а искренние — если таковые имелись — сомнения в закономерности успеха окончательно развеялись, когда писатель опубликовал новую повесть — «Прощай, Гульсары!» (1967 год), за которую получил уже Государственную премию СССР. Все убедились, что Айтматов — это явление, что оно может быть понято и объяснено в широком историко-культурном, даже цивилизационном контексте всей киргизской культуры XX века.

Ну а для семьи триумф старшего сына стал ещё и большим домашним праздником. Вспоминает Роза Айтматова:

«Мама вдумчиво и с пристрастием читала каждую строку его творений, даже статьи и интервью. Она была осведомлена и о тогдашней советской, и мировой литературе. Всё анализировала, сравнивала и радовалась за сына.

День присуждения Чингизу Ленинской премии стал поворотным в судьбе семьи, днём высочайшего взлёта и возврата авторитета, которым она обладала до 1937 года. Республиканские газеты посвятили Чингизу целые полосы. Со всех концов не только Киргизстана, но и СССР шли потоком письма и телеграммы. Я помню содержание одной телеграммы, которую направил Иса Коноевич Ахунбаев.

Он писал: «Если народ не может стать великим, то его сыновья должны быть великими».

В тот день, когда должен был вернуться домой новоиспечённый лауреат Ленинской премии, мама слегла в больницу с тяжёлым приступом. Все поехали встречать Чингиза в аэропорт, а я осталась с мамой в палате. Её обычно клали в отдельную палату, потому что тяжёлое состояние нарушало покой соседей.

Чингиз, не заезжая домой, прямо из аэропорта приехал в больницу. Едва поднявшись с койки, мама припала к груди сына и долго плакала. Но то были слёзы радости, чистые и светлые, словно бриллиантовые ручейки горных родников. Впервые за долгие годы она вздохнула свободно, полной

грудью, как будто не осталось и следа от нескончаемых страшных дней и бессонных ночей. Словом, мама восприняла торжества и славы сына как духовную победу Торекула»^[22].

ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ, ПРОЩАЙ, КОММУНИЗМ!

В кругу советских писателей своего поколения Чингиз Айтматов, пожалуй, наиболее проникновенно размышлял о судьбах коммунистов старшего поколения, о революционных порывах того времени. Эта тема была ему душевно близка — всё время стояла перед мысленным взором трагическая судьба отца, за которой выделялись не только иные, сходные с ней судьбы, но и проблема поистине всемирного значения — идеология и практика коммунистического учения.

Первой и очень талантливой попыткой осмысления жизни и благородных устремлений этого поколения стала повесть о коммунист-учителе. Правда, в ней в ту пору расслышали прежде всего не трагические, а публицистические ноты.

Теперь Чингиз Айтматов, всё ещё молодой, но уже не начинающий, а широко признанный писатель, возвращался к этой теме, очищая её от малейших наслоений конъюнктурного свойства.

В повести «Прощай, Гульсары!» художнический талант Айтматова заиграл новыми гранями. Это был новый поворот, новая ступень в его писательской биографии. Видный советский критик того времени Корнелий Зелинский, прочитав новую повесть ещё в журнальном варианте, назвал её «живой классикой», а Танабая, главного героя, рецензенты начали сравнивать с образами коммунистов Шолохова. Сейчас такое уподобление может показаться малозначительным, но в ту пору оказаться на одной ступени с автором «Тихого Дона» дорогого стоило.

В известном смысле Чингиз Айтматов действительно шёл дорогой, проложенной и Шолоховым в «Поднятой целине», и другими писателями старшего поколения — Николаем Островским, Дмитрием Фурмановым, Александром Фадеевым. И всё же в целом он смотрел на коммунистов ранних призывов отлично от классиков литературы социалистического реализма. Быть может, первым из советских писателей Айтматов заговорил о кризисе идеологии, о проигранной в историческом плане борьбе за коммунистические идеалы. «Прощай, Гульсары!» — это повествование о человеке, который свято верил в эти идеалы, отстаивал их, сколько мог, заблуждаясь, «плача, — говоря словами самого Айтматова, — на коленях и

восставая во гневе». Но проиграл.

Многими критиками образ Танабая Бакасова был воспринят как некая реинкарнация другого коммуниста — учителя Дюйшена. Правда, в новом произведении исчезла прежняя аскеза: новый герой уже не «беспольный человек», как выразился Гачев, а женатый. Более того, он влюбляется в другую женщину, хотя свой статус честного, морально стойкого коммуниста ставит превыше всего.

Вместе с тем Танабая кое-что действительно роднит с Дюйшеном — в финале оба предстают как сломленные, забытые обществом, выброшенные за борт люди. Порушенные надежды и несбывшиеся мечты — вот что характеризует их жизнь на самом её закате. В обеих повестях читатель покидает героев, оставшихся в полном одиночестве, с неудавшейся личной жизнью, с множеством рубцов на душе и теле. Иное дело, что тема утраченных иллюзий звучит в «Прощай, Гульсары!» заметно сильнее, чем в «Первом учителе», быть может, потому что сам герой — фигура более крупная и многогранная, чем его предшественник.

Танабай Бакасов — человек «огненной стихии», необычайного темперамента, неукротимой гражданской страсти. «Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везёт? — говорит ему приятель. — От нетерпения. Ей богу. Всё тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъём из Александровки, и тот тебе неважно. Все люди как люди, идут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прёшь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Всё равно сидишь там наверху, дожидаясь других. И в мировую революцию один не выскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся».

Да, Танабай в прямом смысле слова сын своей советской эпохи. Примечательна его судьба борца, коммуниста, правдоискателя. Казалось бы, в его жизни, как в жизни его инокходца Гульсары, было много светлых моментов, но Танабаю-человеку «дано слишком много», он от этого «многого» часто страдает. У него «активная совесть», как сказал Андрей Вознесенский о Василии Шукшине. Именно об этом говорит целая цепь монологов-воспоминаний Танабая, чья жизнь тысячами нитей связана с развитием всего советского общества.

Образ Танабая не укладывается ни в какие умозрительные схемы, это менее всего модельный персонаж. Айтматову важно увидеть и показать в нём личность высоких гражданских устремлений, человека наивного и сильного, борца и мечтателя. А связь Танабая с Бибижан изображена как человеческая драма, сопряжённая с противоречиями самой эпохи, её

моральными и этическими императивами.

Показателен финал повести, где Танабай предстаёт человеком, проигравшим самые важные сражения своей жизни. Он чувствует, что его борьба, его живые страсти, коммунистические идеалы и несбывшиеся мечты о мировой революции остались позади. Даже партбилет, которым он столь беззаветно дорожил, отобрали чиновники, обвинив его в несуществующих грехах. И лежит перед ним бездыханный труп Гульсары, его любимого иноходца, злонамеренно оскропленного и изможденного, превращенного в жалкую старую клячу.

Осознание того, что он всегда находился там, где нужна была настоящая коммунистическая честность, самоотверженность, но из этого так ничего не вышло, не даёт ему покоя. Ведь он работал и табунщиком, и чабаном, и кузнецом. Вроде везде был нужен партии. Но вот его постигла неудача и жизнь будто потеряла свой смысл.

«Боже, — стучало в голове Танабая, — куда всё девалось, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уж до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, из-за беспутного Бектая...» *И сидя возле павшего на дороге старого иноходца Гульсары, свидетеля лучших дней его молодости, Танабай понимает, что и его жизнь на исходе.*

Правда, изображая тяжёлую душевную смуту героя, автор даёт ему возможность увидеть свет в конце тоннеля.

«Напишу Самансуру (сыну его друга Чоро. — О. И.), — решил Танабай, — так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нём я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращаясь прошлой ночью из Александровки, по дороге пал мой иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, и сам паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был».

Таков финал повести. По мысли Айтматова, герой должен либо смириться со своей участью, либо снова подняться, попробовать обрести себя. И выбор сделан — Танабай решает вернуться в партию, вернуться к вере, которую он было потерял. А это значит, что и личное поражение героя неокончательно, и, тем более, вовсе не бессмысленно то, за что он боролся всю свою сознательную жизнь.

Да, не похож Танабай Бакасов на твердокаменных коммунистов в произведениях советских классиков. В идейной палитре повести важную роль играет метафора насилия — оскропления. Чингиз Айтматов много раз

обращался к образам, почерпнутым из народной мифологии, из киргизских эпосов, но по художественной силе и идейной неоднозначности эта метафора в «Прощай, Гульсары!», несомненно, одна из самых сильных. С ней можно сравнить, пожалуй, только легенду о манкурте из романа «И дольше века длится день».

Художественная ткань повести укрепляется также легендой о Карагуле, повествующей о гибели единственного сына, по несчастной случайности застреленного отцом-охотником.

Вся эта символика раскрывает всё новые грани повествовательной конструкции, заставляя сопереживать расстающемуся с дорогими для себя иллюзиями герою. Танабай, старый коммунист, этот «человекоконь», «кентавр» (выражения Гачева) прощается не только со своим верным другом — иноходцем, рухнувшим в пути из-за физической немощи. Он прощается со своим прошлым, с лучшими днями, с эпохой, о наступлении которой мечтал и, мнилось, приближал всеми силами, но которая так и не наступила. Он отвергнут, и реальный, а не иллюзорный мир, оказался чужд для него. Он уже не хозяин своей судьбы, а собственная тень. Всё, что Танабай делал и чем занимался, потеряло смысл. У Айтматова человек сталкивается с судьбой, с историей один на один, лицом к лицу, а вера, идеалы, борьба за них есть не что иное, как момент экзистенциального выбора, который, как говорил Сартр, всегда предшествует этической самореализации личности^[23].

При этом нужно подчеркнуть, что Айтматов далёк от мысли, будто борьба за лучшую долю есть абсурд или очередной идеологический обман. Наоборот, он убеждён, что без борьбы, борьбы упорной и тяжёлой, не обойтись. Проблема, по Айтматову, заключается в другом — насколько она, эта борьба за идеалы и социальный прогресс, результативна в человеческом плане, в этическом самосовершенствовании личности, в достижении общественной и личной гармонии.

Тут следует вспомнить литературный контекст 1960-х годов, когда в советской литературе активно обсуждалась проблема так называемого «положительного героя». Не остался в стороне от этих дискуссий и Чингиз Айтматов. Отношение к этому самому «положительному герою» у него всё время менялось, наполнялось новым содержанием. То, что он говорил в автокомментариях к «Первому учителю» в 1963 году, в 1977-м звучало иначе. Опираясь на опыт, приобретённый в процессе работы над повестью «Прощай, Гульсары!», он, в частности, утверждал: «Невозможно прийти к герою лишь путём чистого разума... Мне кажется, что задача литературы состоит не в том, чтобы показывать хорошего агронома, или плохого

председателя колхоза, или передового рабочего, или разоблачить отвратительную пьяницу, или расхваливать своего героя для всеобщего назидания. То, что критики понимают под термином “положительный герой”, нередко оказывается огрублением. Если герой не является личностью, он может обладать многими хорошими качествами, но он не вызывает симпатий: в лучшем случае возникает красивая икона. Герои серьёзной литературы — противоречивые, внутренне богатые личности».

Одним словом, творчество Айтматова второй половины 1960-х и начала 1970-х годов по-своему обозначило существенный отход от доктринальных положений теории социалистического реализма. Его творческое развитие шло скорее в направлении экзистенциализма евразийского толка, или постэкзистенциализма, характерного для целого ряда писателей России и Средней Азии.

Автор повести «Прощай, Гульсары!» сыграл в этом сдвиге поистине выдающуюся роль, что подтвердила его новая повесть «Белый пароход» (1970 год). Айтматов был убеждён, что любая часть мира — это его модель, семиотическая парадигма. А ось этой модели — неизменная доминанта — человек. Было ясно: чтобы понять XX век, его лицо и гуманистический облик, подъёмы и падения, нужно всмотреться в человека.

По мысли писателя, человек в XX веке оказался задавлен и морально, и духовно тяжестью проблем, число которых непрестанно умножалось. Большевицкая революция 1917 года разрешилась не демократией и не освобождением человека, а кроваво-репрессивной диктатурой, для которой личность не представляла никакой ценности. Историческая борьба за социализм в СССР постепенно потеряла внутренний смысл, а сам процесс человеческого развития, в том числе научно-технический прогресс, не сопровождался прогрессом морали. Фактически то же самое явление наблюдалось и на индустриальном Западе, где был обеспечен, по сравнению с СССР, настоящий потребительский рай, где намного лучше защищались права и свободы. Но человек оказался неизмеримо шире и глубже самого себя. И противоречивее, чем всегда казалось. «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», — в мысли Достоевского, вложенной в уста Дмитрия Карамазова, оказалась, увы, слишком много правды.

Критическое отношение Айтматова к советской политической системе и коммунистической идеологии после «Прощай, Гульсары!» усиливалось всё заметнее. При этом вряд ли будет справедливо утверждать, что во всех бедах человечества писатель обвинял только систему, не говоря уж о конкретных её проводниках. Скорее, он близок был к идее, что людям надо

совершенствовать не столько ту или иную политическую систему, сколько самих себя. Заботиться о душе, о нравственности, проявлять активную доброту, которая спасёт от новых идеологических доктрин.

«Литература всегда стремилась мыслить широко, даже глобально, не забывая при этом, что центр её интереса, её точка кипения, её краеугольный камень — отдельная человеческая личность. Отдельную человеческую личность можно сравнить с фокусом, в котором собраны все воздействия действительности: их изучение даёт нам возможность познать через человека содержание, сущность и тенденции времени», — утверждал в те годы Айтматов^[24].

Особого разговора заслуживает взаимоотношение киргизского писателя с советской идеологией, в целом с советской властью. С одной стороны, Айтматов в своих выступлениях, статьях и интервью всё время старался быть корректным и не портить отношения с Кремлем. Вообще власти он побаивался, даже боялся — по-видимому, судьба репрессированного отца так и не была им забыта.

Ещё в 1960-е годы Чингиз Айтматов много писал о необходимости изображения людей труда, личностей активных, современных, морально и социально ответственных. Его статьи «Главная книга» (1961 год), «Создадим яркий образ коммуниста» (1963 год), «Горжусь моим современником» (1963 год), в сущности, являются чем-то вроде манифеста. Автор их ратует за создание такого образа современника-коммуниста, в котором органически сочетались бы настоящий гуманизм и революционные традиции советской литературы.

Но между заявлениями в таком духе и реальным литературным творчеством Айтматова всегда существовал немалый разрыв, а с появлением новых книг — сначала «Гульсары», потом «Белого парохода», романов «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры» — это расхождение только углубилось.

Существенно то, что Чингиз Айтматов был наделён удивительным талантом видеть в самом рядовом человеке крупную личность, сильную, даже титаническую натуру, разгадывать в нём знаки времени, распознавать историю, обнаруживать драматизм и удивительную душевную глубину. Многие его герои предстают как титаны античности; у них пламенная душа и чувствительное сердце, страдания их связаны с вопросами, над которыми человечество мучается вот уже столько веков. Толгонай, Дюйшен, Танабай, Эдигей, Джамиля, Авдий Каллистратов... Сколько персонажей — рабочих-стахановцев, чабанов — героев труда, сталеваров и шахтёров — прошли через страницы книг советских писателей, но у Айтматова те же самые

чабаны и табунщики, железнодорожные рабочие и учителя без преувеличения олицетворяют целую эпоху, обнаруживают в своей борьбе и в своих поражениях поистине титаническое величие духа.

Среди киргизских историков литературы существует общее мнение, что после «Прощай, Гульсары!» автор фактически оторвался от национальной литературной жизни, и местным авторам оставалось как бы двигаться в его фарватере, осваивать художественные пространства, на которых он расставил свои вехи. Да, это правда, что новаторские поиски Айтматова рубежа 1950—1960-х годов оказали сильнейшее воздействие на киргизских прозаиков более молодого поколения. Одним из тех, кто воспринял идейно-эстетические уроки писателя, был Оскен Даникеев с его повестями «Бакир» и «Тайна девушки», Ашим Джакыпбеков, антивоенная повесть которого «Суровый путь» заняла достойное место среди лучших произведений, посвящённых этому историческому периоду.

Нужно подчеркнуть, что новаторство Айтматова они продолжили по-своему, идя своим путём и затрагивая несколько иной жизненный материал и социальный контекст. Даникеев воспринял от своего предшественника прежде всего тенденциозность идейно-художественного изображения, ясно выраженную авторскую позицию. В его повестях на первый план вышел герой нравственно активный, изображённый в процессе гражданского и личностного становления. Писатель как бы задаётся вопросом о том, каков он, сегодняшний гражданин, наш советский молодой человек, каким он должен быть? На эти вопросы отвечают сами герои, когда оказываются в той или иной непростой жизненной ситуации, перед трудным нравственным выбором. Во всяком случае, так построена повесть писателя «Тайна девушки».

Однако следует отметить, что в киргизской литературе 1960-х годов существовал и иной, отличный от айтматовского и его последователей, взгляд на проблему героя современности. Например, уже упомянутый выше К. Джусубалиев, автор замечательной повести «Солнце не окончило автопортрет» (1967 год), выступил с абсолютно других позиций, и у него сложилась иная художественная концепция героя своего времени. Джусубалиева очень трудно заподозрить в подражании Айтматову или в приверженности к его идейно-эстетическим взглядам, но знаменательно то, что и он в 1960—1970-е годы далеко отошёл от эстетики социалистического реализма, нащупывая новые пути, стимулируя литературные поиски и создавая свою, альтернативную художественную школу.

Именно о них, писателях и поэтах более молодого поколения, Чингиз

Айтматов писал ещё в 1963 году в полемической статье «Жажда поиска»: «За последние годы в киргизскую литературу пришла целая группа молодых одарённых поэтов и писателей. Они переступили порог литературы так стремительно, что нередко трудно уследить за их именами. Я знаю Сеита Джетимишева, Ашыма Джакыпбекова, Марьям Буларкиеву, Кубатбека Джусубалиева, Майрамкан Абылкасымову и других. Характерно, что многие из них вошли в литературу шумно, зримо, какими-то новыми находками, новыми формами и новыми почерками. Им присуща та самая жажда поиска, о которой я говорил выше.

Подчас поиски идут по неверным дорогам, — продолжал Айтматов. — Молодой писатель мучается над строкой, пытаясь выразить свою мысль посложнее. Ему кажется, что в век атома именно таким усложнённым языком и нужно выражаться... Формалистические вывихи нередко приводят художника к идейной ущербности, убогости содержания»^[25].

АЙТМАТОВ КАК «ШЕСТИДЕСЯТНИК»

Жизнь Айтматова в 1960-е годы — это без преувеличения жизнь звезды. Ленинская премия, после неё новое признание в виде Государственной премии СССР за «Прощай, Гульсары!» (1968 год) ещё более упрочили его положение одного из самых популярных и авторитетных писателей всего Союза. Его писательская слава очень быстро пересекла границы СССР, о нём заговорили в Европе, особенно во Франции, затем в Германии. Интерес к нему как к писателю подогревался ещё тем, что он представлял советскую Азию, о которой всё ещё очень мало знали за рубежом. Айтматов писал о жизни огромного региона, который всё ещё оставался на Западе *terra incognita*, с мусульманским по преимуществу населением, малоизученной культурой и т. д.

А Чингиз тех лет и сам по себе был своеобразной экзотикой: не по-азиатски рослый, с крупной лепкой черепа, по-своему красивый и киногоеничный молодой мужчина. Очень приятный голос, большие тёмные глаза, выделяющиеся на фоне матово-светлой кожи лица, чёрные, как смола, выющиеся волосы — словом, и впрямь актёрская внешность. К слову, кинематографу Айтматов был далеко не чужд — он писал сценарии по собственным повестям; они становились основой для театральных спектаклей, а также музыкальных произведений, некоторые из которых, например, балет Владимира Власова «Асель», поставленный сначала в Большом, а затем во Фрунзенском театре оперы и балета, приобрели широкую известность. Но главными, естественно, оставались книги. На полках магазинов они не залёживались. Чингиз Айтматов стал целым явлением, явлением в Киргизии знаковым — и тут уместно вспомнить слова Олжаса Сулейменова о ренессансной личности.

Помимо всего прочего, автор «Джамили» стал как бы мостом между культурами, а его страсть публициста (а также, возможно, генетическая память об отце-политике) подталкивала его к активному участию в общественной жизни. Ни один республиканский съезд Компартии не обходился без его участия, а вопросы, которые он поднимал в своих выступлениях, всегда отличались и актуальностью, и яркостью языка.

Время, конечно, оказалось к нему милостиво. Годы раннего расцвета Айтматова были лучшими годами как Киргизии, так и всего СССР, — период исторического пика, когда экономика добилась больших

достижений, а наука и культура достигли выдающихся успехов.

Кончина Сталина поначалу породила страх: как жить дальше без вождя? Вера в его сверхчеловеческие возможности была настолько велика, что когда он умер, многие советские люди искренне плакали, общество было на грани психической истерики. В Кремле же к власти пришёл Никита Хрущёв. Его доклад на XX съезде КПСС о культе личности и преодолении его последствий получился поистине поворотным и судьбоносным.

«Я благодарен судьбе, — писал позднее Чингиз Айтматов, — что мои начальные в литературе годы, конец 50-х — начало 60-х годов, оказались исключительно интересным, обновляющим этапом в истории отечественной литературы. Я имел возможность наблюдать и быть участником живого литературного процесса, когда наиболее отчётливо и резко подлинные ценности отличались от мнимых. Постепенно начали постигать значение проблем морально этических, возникающих в отношениях человека с другими людьми, обществом, убедились, сколь ответственная, сложная задача — нравственное воспитание людей»^[26].

Этот период и впрямь оказался знаменательным и продуктивным для культуры и искусства. Благодаря оттепели появился целый ряд по-настоящему крупных фигур. Они вошли в историю как «шестидесятники». Это было мощная волна, на гребне которой возникла много лет спустя политика перестройки и гласности, начался последний, предкризисный подъём советской культуры. Об этом писал выдающийся грузинский прозаик и драматург Нодар Думбадзе: «Критика, который находится в гуще литературных событий Грузии и игнорирует своеобразие “шестидесятников”, критиком считать просто нельзя! Я же лично убеждён, что шестидесятые годы в истории грузинской литературы являются порой чрезвычайно яркой и насыщенной»^[27].

Это было и время, когда мощно заявляли о себе народы СССР: вместе с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Василием Аксёновым и другими молодыми русскими писателями в литературу пришли Юстинас Марцинкявичус, Олжас Сулейменов, Иван Драч, тот же Нодар Думбадзе — длинный и славный ряд ярких имён. Ренессанс наступил в театре, кинематографе, изобразительном искусстве — достаточно вспомнить Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Марлена Хуциева, Отара Иоселиани, Эрнста Неизвестного и многих других.

Наступило время, когда официальная критика того или иного деятеля культуры, наоборот, умножала славу и вызывала ещё больший интерес к

его творчеству. Так было почти со всеми вышеназванными советскими авторами, а литературная Москва не раз вставала на защиту многих талантливых писателей с национальных окраин, подвергавшихся у себя дома несправедливым гонениям. Так было и с Айтматовым.

В послесталинское время наступил и своеобразный бум переводной литературы. На русском языке заговорили крупнейшие мастера XX века, от Франца Кафки до Сэмюэла Беккета, от Эрнеста Хемингуэя до Натали Саррот. Их книги расхватывались мгновенно, они ходили по рукам, попадали в список того привычного «дефицита», какими были цветные телевизоры, магнитофоны или джинсы. Вообще советское литературное западничество 1950— 1970-х годов второй половины XX века и его творческие итоги — это предмет отдельного и внимательного научного рассмотрения.

Советские люди, «томимые духовною жаждой», жадно ловили каждую новость литературной жизни Запада, но точно так же и читатели западного полушария внимательно следили за важными процессами в культуре социалистического Востока, включая национальные советские республики. Этот неподдельный интерес подогревала и холодная война, развернувшаяся в мире именно в эти десятилетия и в конце концов подточившая экономические силы как СССР, так и стран Восточного блока.

Знакомство и усвоение художественного опыта способствовало расширению творческого кругозора советских писателей, которых всё меньше стесняли идейно-эстетические установки социалистического реализма в его классических формах.

Ярким воплощением этой эпохи перемен стало явление Чингиза Айтматова.

Теперь, когда его нет в живых и творческое наследие писателя предстало в своей завершённости, когда мы имеем возможность рассмотреть его творчество в самом широком культурно-историческом контексте, становится ясным, что это явление обусловили, по меньшей мере, два фактора: возрождённый культурно и социально-экономически Киргизстан второй половины прошлого века и великая и могучая держава по имени Советский Союз. Писательское становление и развитие Айтматова так или иначе является органичным следствием этого феномена. Художник, чьи корни уходят глубоко в национальную почву, он поднялся до такого уровня эстетически-философских обобщений, что его можно без преувеличения назвать писателем державным, имперским.

В связи с этим уместно процитировать одного из лучших критиков Айтматова, Георгия Гачева, который в конце 1980-х писал: «Народу

Чингиза сколько выпало в веке XX прожить, перейти и перемыслить. Только из пелён сонного патриархального состояния, в котором он застыл на тысячелетие, ввергнут он был в XX веке в водоворот всемирной истории и, не успев оглянуться, оказался уже в социализме. Вот и продирает до сих пор его человек, Чингиз Айтматов, глаза, и всё думает, думает, думает: что же произошло? Что есть, что будет? И это не только его народа мысль, но более масштабная дума — за всё человечество. Ибо для XX века типично, что народы, долгое время стоявшие в стороне от магистральных путей мировой истории, включаются в неё, и бурно, ускоренно развиваясь, перепрыгивают со стадий древних — в наисовременнейшие. Недаром Айтматова переводят на многие языки: близки судьбы и думы его героев людям из многих стран Азии, Африки, Латинской Америки; и опыт, что накопил его киргизский советский народ: и исторический, и душевно-эмоциональный, и мыслительный, и художественный, всем в поучение оказывается.

Но раз народ его такой путь, равный двум-трём тысячелетиям европейской истории, промчался, то подобная же прорва должна быть перекрыта и в духовной культуре, и в типе писателя. И действительно: как тип писателя Чингиз Айтматов не просто житель середины XX века, но и шаман-заклинатель-мифотворец, акын-рапсод-сказитель гомеровского толка, ренессансно-шекспировский драматург, просветитель и дидакт своего народа, романтик с идеалом высокого накала, реалист-нравоописатель и историограф, и наконец, вполне “модернист”, как и конгениальный ему собрат в Латинской Америке Габриэль Гарсиа Маркес, книга которого “Сто лет одиночества” являет собой подобное же конденсированное табло эпох мировой истории и путей, и путей, и идей человека...»^[28]

Действительно, выдвинувшая Айтматова киргизская литература первой половины 1960-х годов отличается целым рядом особенностей. Художественное мышление писателей существенно изменилось — сказалось это удивительное, динамичное, не в пример сталинскому либеральное время. Значительно углубилось художественное миропонимание, умение связать локальные, местные проблемы с проблемами более широкого масштаба, порой глобального. Наблюдалось разнообразие творческих поисков как в идейно-тематическом, так и в жанрово-стилистическом планах. Усилились попытки найти новые темы, идеи, художественные формы, выразительные средства. Понятно, что иные молодые авторы новаторство понимали всего лишь как обновление внешней формы, стилистики. Отсюда стремление «осовременить»

киргизскую литературу за счёт чисто формалистских изысков, что было в те годы довольно характерным явлением.

Примерно в то же время, когда Айтматов создавал такие вещи, как «Белый пароход» и «Пегий пёс, бегущий краем моря», писал свой экзистенциалистский роман «Холодные стены» и рассказ «Толубай сынчы» К. Джусубалиев, свою «Сотую песню усталости» О. Султанов, появились прекрасные импрессионистские стихи С. Акматбековой, Р. Карагановой, пьеса Дж. Садыкова «Семетей — сын Манаса».

Ни в одном из этих творений следов прямого «присутствия» Чингиза Айтматова не видно, и тем не менее его знаковые, поистине этапные произведения сыграли огромную роль в жизни страны, в развитии киргизской литературы и художественной культуры в целом, переживавшей в 1970-е годы подлинный расцвет. За Айтматовым последовала целая плеяда, представленная ярчайшими именами.

Феноменальная всемирная слава Чингиза Айтматова ещё больше подняла значимость литературы, где динамика перемен ощущалась особенно остро. Достаточно шумный успех пришёлся на долю Т. Касымбекова, создавшего целую школу исторического романа. Его знаменитый роман «Сломанный меч», а также «Голубой стяг» Т. Сыдыкбекова показали, что киргизская литература начинает осваивать совершенно нетронутый пласт — богатейшее прошлое народа. Пройдёт время, и в киргизской прозе и поэзии историческая тема займёт ключевое положение, иные писатели вообще сделаются профессиональными историками, издадут фундаментальные научные труды.

Этот знаменательный период исследователи отечественной литературы называют, напоминая, «киргизским серебряным веком». Самой яркой его фигурой является, естественно, Чингиз Айтматов, но в его тени не потерялись и иные значительные мастера не только литературы, но и кинематографа, музыки, изобразительных искусств. К вышеназванным именам можно добавить С. Эралиева, автора программной поэмы «Путешествие к звёздам», классического произведения киргизского поэтического модернизма, М. Байджиева, автора пьес «Дуэль» и «Древняя сказка», внёсшего в киргизскую драматургию новые настроения, иную театральную эстетику.

Можно и нужно назвать имена Т. Океева, Б. Шамшиева, С. Чокморова, Д. Куйуковой, К. Молдобасанова, Н. Давлесова, А. Джумахматова, Б. Кыдыкеевой, Г. Базарова, Б. Минжилкиев, А. Токомбаевой и других, кто стал широко известен именно в эти годы и по праву стал гордостью культуры Киргизстана второй половины XX столетия.

Говоря о «киргизском серебряном веке», нельзя обойти вниманием ещё один важный фактор — влияние русского языка и в целом русской культуры на жизнь советского Киргизстана. Именно к концу 1950-х появились первые русскоязычные киргизские писатели, позднее их число только умножалось. Список возглавлял Чингиз Айтматов.

Вместе с тем существовала и даже пышно расцветала конъюнктурная, «сервисная» литература, всегда обслуживавшая текущую партийно-идеологическую программу, не отступающая от канонов «социалистического реализма», марксистско-ленинской эстетики. Целый ряд прозаиков, поэтов, драматургов сориентировались на этом пути, и на них пролился дождь почётных званий, орденов, премий.

Нельзя сказать, что это была совсем уж никуда не годная, профессионально несостоятельная литература. С точки зрения жанра, охвата событий, «правильности» толкования событий в духе текущей политической конъюнктуры, «верности» идеям марксизма всё было на месте. Это особенно касалось произведений о Ленине, партии, пятилетних планах советского правительства, достижениях в области науки и техники. Только о Юрии Гагарине, первом космонавте, была создана целая коллекция вполне профессиональных произведений, которые вошли в школьные учебники, хрестоматии, многообразные перечни обязательной литературы. Среди таких произведений была своя классика: «К коммунизму», «Рисуй портрет» А. Токомбаева, «Партбилет» А. Токтомушева, «Ленин в Разливе» С. Эралиева.

Ода Аалы Токомбаева «К коммунизму» — классика жанра, она без преувеличения может считаться одним из лучших произведений старейшины киргизской литературы, которое в советские годы наизусть знал каждый школьник. По своему характеру это философско-публицистическая поэзия, в ней видна глубокая вера поэта в коммунизм, представляющийся ему «вечным символом счастья», к которому неуклонно движутся время, история и человечество.

Но время показало исчерпанность такой литературы. На смену ей пришли «Джамиля» и «Материнское поле» с их живыми людьми, психологической глубиной, художественной точностью.

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Айтматов в предкризисные 1970-е

Творческий путь Чингиза Айтматов можно условно разделить на несколько этапов. Первый, ученический, — рассказы и повести начала 1950-х. Второй — это, конечно, «Повести гор и степей», куда вошли произведения, ещё в 1960-е признанные киргизской национальной классикой («Лицом к лицу», «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле», «Тополёк мой в красной косынке», «Верблюжий глаз»). Они были созданы в то время, когда писатель всё ещё твёрдо верил в коммунистическое будущее советского общества, в его жизнеспособность.

Повестями романного масштаба — «Прощай, Гульсары!» (1967 год), «Белый пароход» (1971 год) открылся новый, третий этап в творчестве Айтматова. Это был период, когда писатель глубоко задумывался об антигуманной природе тоталитаризма, о последствиях идеологического давления на человека, о новом виде рабства (позднее он назовёт это явление «манкуртизмом»), о важности морального выбора между добром и злом, о значении личной и общественной свободы как важного критерия морального достоинства любой политической системы или режима. Этот этап отмечен и болезненными сомнениями в идеалах, которые декларировались в обществе и которые вдохновляли самого художника, — они наиболее ярко и глубоко отразились в повестях «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977 год) и «Ранние журавли» (1976 год), в романе «И дольше века длится день» (1980 год). Последнему предпослан эпиграф из «Книги скорбных песнопений» великого армянского поэта и мыслителя-мистика X века Грегора Нарекаци: «И эта книга вместо моего тела, и слово это вместо души моей».

Последний, четвёртый этап художественных, идейно-философских исканий Чингиза Айтматова отмечен эсхатологизмом в его мироощущении, восприятии мировой и национальной истории. Это романы «Плаха» (1986 год), «Тавро Кассандры» (1996 год) и, наконец, последнее слово — «Когда падают горы (Вечная невеста)», прозвучавшее в 2008 году.

Но в 1970-е же годы Айтматова более всего занимала этическая, нравственная проблематика. Его, как и многих других, преследовало тревожное ощущение девальвации ценностей, какой-то духоты в

окружающей атмосфере. Моральные императивы советского социализма, к началу 1970-х окостеневшего, утратившего внутреннюю энергию развития, мало вдохновляли. Военная тематика, как источник подъёма советского патриотизма, также изрядно набила оскомину, а новые объединяющие идеи не выдвигались, сильные лозунги не звучали. Советское общество постепенно увязало в болоте бумажных, обветшалых, мертворождённых парадигм, а людей всё сильнее и сильнее угнетал разрыв между произнесённым словом и реализовавшимся делом.

Чингиз Айтматов 1970-х продолжал верить, что только реальное, истинное, деятельное человеколюбие спасёт мир от моральной деградации и сползанию к черте, за которой человек просто перестанет быть человеком, а цивилизация устремится к своему неизбежному закату — закату гуманизма. Эту веру писатель попытался воплотить в ряде своих произведений, особенно в «Ранних журавлях», слегка затронутых ностальгией по молодости и романтизмом 1960-х. Позднее он отмечал, что эта повесть — дань подвигу и святым идеалам подростков военного времени, так рано познавших горький привкус жизни и переживших сладкую истому первой любви.

Но совсем по-иному прозвучал и даже озадачил читателей написанный несколькими годами ранее «Белый пароход». Озадачил и темой, и экзистенциальным звучанием, а особенно финалом, в котором безымянный киргизский мальчик, преданный всеми, забытый родителями и живущий в мире красивых сказок и легенд, не выдержав жестокости и бездушия старших, уходит из жизни. Интерес писателя к народным преданиям, мифам, легендам был известен давно, но никогда ещё не входили они столь плотно в художественную ткань реалистического по всем признакам повествования. Соположение мифов и самоубийства наивного существа — киргизского мальчика с берегов Иссык-Куля, этическая категоричность повести смутила кое-кого из его критиков. Она вызвала оживлённые споры в литературной среде, породила противоречивые оценки. Иные рецензенты утверждали, что «Белый пароход» в своей этической безысходности и трагизме знаменует отказ писателя от прежних гуманистических позиций.

Можно ли представить себе такую историю в действительности? Конечно. Жизнь есть жизнь. Ребёнок сделал свой выбор, решив, быть может, бессознательно, «победить себя, но не мир» (Декарт). Но оппоненты Айтматова, воспитанные в духе советского пуританизма, полагали иначе. По их мнению, советский мальчик никак не мог утопиться, и уж точно нельзя частный случай, даже если он имел место в реальности, поднимать до уровня обобщения. Чем-то это напоминает упреки Мерсье в адрес

Сартра, «забывшего про улыбку ребёнка»^[29].

Разумеется, подобного рода упрёки лишь по касательной задевают иносказание «Белого парохода», повествующего не просто о несчастье, случившемся на небольшом исык-кульском кордоне, но о беде куда более значительного масштаба. По сути, на метаязыке символов и параллелей Айтматов пишет о трагедии народа, растворяющем в огромном «интернациональном котле» свои ценности и вековые традиции; о трагедии общества, превращённого усилиями коммунистического Левиафана в некий самовоспроизводящийся бюрократический механизм. В этом смысле «Белый пароход» стал предтечей «И дольше века длится день», а безымянный мальчик-утопленник — предшественником манкурта, которого жестокие жуаньжуани лишили памяти.

Но киргизский «мыслящий Сфинкс», как назвал Чингиза Айтматова Георгий Гачев, идёт дальше. Моральный долг, если он выполнен, ответственность, если она осознана, и делает, по мысли Сартра, человека человеком: «Когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. (...) Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбрать зло. То, что мы выбираем, — всегда благо»^[30].

Именно моральный выбор в тяжёлой жизненной ситуации делают герои «Пегого пса, бегущего краем моря». Это повествование о дальневосточных рыбаках, о быте и нравственных ценностях крайне малочисленного народа нивхов. Повесть ещё раз доказала, каким мощным мастером русского слова является Айтматов, какова сила его художественного интеллекта, каков его масштаб. Собственно, в этот период и зародилось понимание того, что если вообще существует понятие «имперского писателя», то Чингиз таковым и является. Писатель советской империи, этого колоссального полиэтнического котла, мировой супердержавы, управляемой консервативной властью, опирающейся на высокие, подчас утопические идеалы, но крайне далёкой от отдельно взятого человека или национальных интересов отдельного народа,

застывшего в своём развитии.

Но мы отвлеклись. «Белый пароход» стал этапным, по-своему весьма символическим, экзистенциально ёмким произведением, в котором писатель высказал своё отношение к явлениям, происходящим в советском обществе, к его моральному состоянию, особенно в таких «окраинных» республиках, как Киргизия. Небольшой иссык-кульский кордон — это осколок общества, показательный пример усталости системы, из которой вынута всё то сущностное, что делает народ народом, а человека — личностью, носителем культуры, представителем этноса.

Иерархическая структура кордона проста: на вершине Олимпа, словно Зевс-громовержец, находится Орозкул, а все остальные — безропотные исполнители его воли. В этом художественном мире постепенно зреют, а потом сталкиваются два нравственных начала, главными носителями которых являются мальчик (и, отчасти, его дед Момун) и Орозкул.

Углубляя морально-этический конфликт сказочно-мифологической линией и полагаясь на нравственный авторитет мифа, писатель предлагает радикальное художественное решение: отчаявшийся мальчуган в болезненном бреде идёт прямо в воду, как бы выражая активный протест и желая свою давнюю мечту превратить в явь. *«Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсечённая голова валялась в пыли, пропитанной тёмными пятнами стёкшей крови, напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах....*

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи... Та самая, что вчера ещё смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, та самая, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Всё это превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсечённые ноги и выброшенную вон голову».

Для ребёнка как бы разорвана связь времён, разрушены все представления о добре. И нужно активно воспротивиться всему этому бездушному, безнравственному, жестокому миру. Интуитивно понимая, что сам ещё так мал и физически слаб для того, чтобы бросить вызов самодурству Орозкула, он в воображении сзывает всех своих единомышленников, жаждет превозмочь зло, принявшее облик не каких-нибудь джиннов или дьяволов, но вполне конкретных и реальных людей. Но на деле мальчик остаётся один, слабый, растерянный и преданный всеми. И бросается в воду.

Трагедия, случившаяся в крохотном лесном кордоне на берегу Иссык-Куля, тем больше потрясает воображение, что фон её вполне зауряден, жизнь здесь течёт размеренно, «в обычном стационарном режиме». Глубоко символичен Орозкул, этот бездетный, обиженный судьбой маленький винтик системы, воспроизводящей себя на всех этажах власти, пусть самой ничтожной. Символичен и дед Момун, кроткий, безропотный старик, который виноват уже тем, что его дочь, жена Орозкула, бесплодна. А для последнего истязания жены, причём у всех на глазах, становятся чуть ли не ритуалом, манифестацией своей значимости. Круг персонажей замыкает брошенный родителями мальчик, внутренний мир которого совершенно противоположен тому, что он видит каждый день.

«Нравственные аспекты конфликта и характеров “Белого парохода”, — писал тогда критик Ч. Гусейнов, — могут быть поняты только в свете социально-психологических факторов, связанных с историческими судьбами целого региона, осуществивших всемирно-историческое движение от феодально-патриархальных отношений к социализму, минувя капитализм и буржуазные отношения, которые, не отменяя коренных, родовых особенностей, свойственных антогонистическим формациям, знаменуют всё же, по сравнению с отсталыми феодально-патриархальными нормами бытовых, нравственно-психологических и иных отношений, сравнительно высокий этап духовного развития личности. И только в этом контексте могут быть с должной полнотой поняты и исторически осмыслены пафос и идейно-художественные особенности “Белого парохода” и вообще творчества Ч. Айтматова, в частности и прежде всего, повести “Джамиля”»^[31].

Впору задаться далеко не риторическим вопросом: был ли «Белый пароход» антисоветским произведением по своей внутренней направленности, а Айтматов — скрытым диссидентом? И да, и нет. В том смысле, какой вкладывала в это понятие официальная пропаганда, — нет. В том, что он видел в системе существенные нравственные изъяны, — да.

Иное дело, что позицию свою, прочно опирающуюся на общечеловеческие ценности, он выражал неявно, на языке мифов и символов. Автора «Белого парохода» вернее всего было бы охарактеризовать как одного из выдающихся представителей советской либеральной интеллигенции. Кстати, крупный прозаик Леонид Бородин, немало претерпевший от власти, утверждал, что диссидентство как явление зародилось в среде московской интеллигенции, в значительной мере — в той её части, которая пережила трагедию отцов и дедов в конце 1930-х годов, испытала душевный подъём на волне знаменитой «оттепели» и

последовавшее затем разочарование. «На первой стадии московское диссидентство не было ни антикоммунистическим, ни антисоциалистическим, но именно либеральным, если под либерализмом понимать некую совокупность добрых пожеланий, не удостоверенных ни политическим опытом, ни политическими знаниями, ни, тем более, политическим мировоззрением»^[32].

Иначе говоря, Айтматов был критиком советской системы в том же смысле, в каком критиками царского самодержавия были русские классики от Пушкина до Толстого. Сын репрессированного отца, он пострадал не менее, если не более тяжко, чем иные диссиденты. Но, не принимая советский тоталитаризм, Айтматов всё равно признавал многие достижения социализма, никогда себя не считал противником власти. Он неоднократно утверждал, что если бы не советская власть, у Средней Азии в целом и у Киргизстана в частности была бы совсем иная участь. А в одном из интервью, данном незадолго до кончины немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», он говорил: «Я убедился, что колониализм и империализм могут иметь и позитивные стороны, что, во всяком случае, русское влияние на Среднюю Азию было позитивным. Россия своими колониальными амбициями внесла большой вклад в развитие нашей территории. Только благодаря русскому колониализму нам в Средней Азии удалось приобщиться к общей цивилизации. Россия является и останется ядром евразийской оси. Мы — люди одной цивилизации. Нельзя также забывать и о том, что Россия принесла Средней Азии в плане цивилизаторского прогресса, кстати, ещё до появления Советского Союза. В ином случае, у нас сегодня было бы, как в Афганистане. Поэтому было логичным создание евразийского экономического союза, включающего некоторые государства Средней Азии и Россию»^[33].

Так Чингиз Айтматов говорил в 2005 году, но в 1970-е, когда на устах у многих звучали проблемы малых народов — перспективы сохранения языков, национальных традиций, культурной идентичности — им владели иные мысли и чувства. Хотя и тогда он искал в малом большое, в частном — общечеловеческое, универсальное. Что и подтвердила его очередная повесть — «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977 год).

Более, чем какая-либо иная книга Айтматова 1970-х годов, она пронизана экзистенциальной тревогой и раздумьями над нравственной-этическими основами человеческого бытия.

Испытания старика Органа, Аки-Мылгуна, Эмрайина и маленького Кирииска, густо замешанные на фольклорной архаике, переосмысленной в

свете современного художественного опыта, глубоко созвучны этическим исканиям современности. Это признает и сам автор: «В последней моей повести “Пегий пёс, бегущий краем моря” действие происходит на море. Персонажи находятся в пограничной ситуации. Лодка — это мир. ...Я вижу свою задачу в том, чтобы подвергнуть нравственную основу героя максимальному испытанию. В сущности, вся современная проза занята такой проверкой, ставя перед обществом вопрос о том, насколько наши собственные поступки соответствуют общим требованиям, нашей исторической миссии».

Иные критики усмотрели в «Пегом псе» — единственным «морском» произведении Айтматова — перекликание с повестью-притчей Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Вообще говоря, американского писателя Айтматов ценил высоко, в частности, его мысль о том, что в любой части мира, если показать её правдиво, отразится вся полнота жизни. Однако же, как в раз в «Пегом псе» Айтматов скрыто полемизирует с автором «Старика и море». Хемингуэй пишет о величии человека, о его моральной победе даже в самом тяжёлом поражении, о борьбе, в которую он вступает, чтобы испытать свою личную стойкость и мужество. Киргизский же писатель ставит человека в пограничную ситуацию за тем, чтобы проверить на прочность его нравственное чувство и вместе с тем гражданские убеждения, ощущение долга перед чем-то таким, что выше его самого.

Но почему нравственные проблемы столь активно обсуждались и отображались в культуре именно в 1960—1970-е годы?

Быть может, если говорить обобщённо, это был отклик или даже сигнал тревоги в связи с начинающимся внутренним кризисом всего советского общества, переоценкой его ценностей? Повести Чингиза Айтматова, от «Джамили» до «Пегого пса», подобно чуткому сейсмографу, отображали такого рода умонастроения.

Но затем последовало нечто вроде лирического вздоха, каким часто сопровождается ностальгия по былому, — повесть «Ранние журавли» (1978 год), в которой оживают некоторые эпизоды детства и отрочества писателя, трудное военное время, когда никто не оставался в стороне, когда суровое, но важное слово «ответственность», как коллективная, так и личная, мобилизовало каждого.

После вызвавшего горячие споры «Белого парохода» эта повесть как бы напомнила читателям Айтматова 1960-х годов, хотя в идейно-композиционном плане здесь обнаруживается и нечто новое. Он описывает мужество и даже героизм, проявляющиеся в самом обыденном поведении у самых неприметных подростков, находящихся в возрасте, свободном от

давления любых идеологических клише. Обыденное поведение в необыденной, более того, экстремальной ситуации, когда доброе и злое в человеческой природе проступает с максимальной отчётливостью, и подвергаются проверке на прочность нравственные, гражданские убеждения.

Сам автор охарактеризовал это состояние следующим образом: «Общая ответственность за судьбу страны становится персональной... Как я теперь понимаю, каждому человеку, великому и малому, на фронте и в тылу, нашлось своё место в этой грандиозной, всенародной борьбе...»^[34]

Изображение таких ситуаций для Айтматова не самоцель, а способ художественного постижения личности, поэтому аксайская история — это уместно повторить, — повествует о героике, в основе которой лежат чистота побуждений и детскость мироотношения. Жажда вновь жить мирной счастливой жизнью вместе с родителями, с отцами, которые находятся очень далеко, на фронте, наделяет пахарей — сверстников Султанмурата — огромной моральной силой, ощущением сопричастности к важному общенародному делу. Выполнение задач, лёгших на плечи Султанмурата и его друзей, преодоление тех трудностей, в условиях которых они живут и работают, должны, по их внутреннему ощущению, приблизить конец войны и вернуть родителей.

«Ранние журавли» — это повесть о светлой духовности, об «утре человечества», о первой любви, о времени, когда всё в мире, даже охваченном пожаром войны, кажется ясным и простым. Юный Султанмурат и его школьные друзья, почти лицом к лицу столкнувшиеся с дезертирами-конокрадами, готовыми идти на любое преступление ради выживания, заставляют оглянуться на апокрифических «отроков юных», сражённых, как сказано в Книге Иова, остриём меча. Пронизана ностальгическими нотками и любовная история Султанмурата к Мырзагуль-бийкеч, также навеянная воспоминаниями молодости автора.

И всё же «Журавли» оказались неким промежуточным текстом, своеобразной интерлюдией. Всё то, о чём здесь написано, так или иначе прозвучало в «Джамиле», отчасти — в «Материнском поле». А ощущалась потребность в новой тематике, в более масштабных художественных идеях. Даже «Пегий пёс, бегущий краем моря», эта бесспорная удача, воспринимался автором как ступень к новым высотам. Как иноходец Гульсары в зрелом возрасте, он жаждал участия в захватывающих скачках, ему не терпелось вновь, но уже на более значительном уровне, пережить то, что было пережито в эпоху «Повестей гор и степей», когда его окрыляли и магнетически приковали к письменному столу восторженные отклики

читателей. «Буланый иноходец Гульнары из мохнатого кургузого полуторалетки превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, — страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них жёлтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звёздами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта».

Примерно так чувствовал себя в середине 1970-х сам Чингиз Айтматов. Он хотел большего и знал, что способен на большее. А большее — это роман, современное эпическое полотно, сага о необычном историческом времени, свидетелем которого стал писатель. Внутренне чутьё, интуиция подсказывали ему, что в советском обществе идут глубокие процессы, назревает некая трещина. Их-то смысл Чингиз и хотел угадать, исследовать на уровне своего любимого «человека труда», точнее, трудолюбивой души.

В эти же 1970-е с ним произошло два противоположных по своему содержанию и значению события.

31 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано письмо советских писателей, осуждающее Александра Солженицына и Андрея Сахарова. Вот текст:

«Уважаемый товарищ редактор!»

Прочитав опубликованное в вашей газете письмо членов Академии наук СССР относительно поведения академика Сахарова, порочащего честь и достоинство советского учёного, мы считаем своим долгом выразить полное согласие с позицией авторов письма.

Советские писатели всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба — веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний исторический

момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику «холодной войны», не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения».

Письмо было подписано такими известными советскими писателями, как Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Олесь Гончар, Сергей Залыгин, Валентин Катаев, Георгий Марков, Сергей Михалков, Борис Полевой, Константин Симонов, Алексей Сурков, Николай Тихонов, Мирзо Турсун-заде, Константин Федин, Николай Федоренко, Александр Чаковский, Михаил Шолохов. Стояло в этом ряду и имя Чингиза Айтматова.

Теперь, спустя почти полвека, остаётся лишь гадать, что им двигало, когда он ставил свою подпись. Зная, как Чингиз Торекулович не любил коллективных посланий, можно полагать, что его, как и многих других, к этому шагу принудили. Иное дело, что Айтматов и сам вовсе не хотел ссориться с Кремлем, с которым у него сложились прекрасные отношения. Отказаться от подписи означало надолго эти отношения испортить. К тому же, насколько можно судить, он действительно во многом расходился как с Солженицыным, так и с Сахаровым. В открытую полемику не вступал, но их призывы казались ему непатриотичными и даже предательскими.

Вообще 1973 год для Чингиза получился тяжким. Именно тогда скончалась его незабвенная муза — Бибисара Бейшеналиева. Об этой трагической истории любви будет поведано дальше, а пока достаточно сказать, что на похоронах Чингиз буквально рыдал и никак не мог остановиться. И слёз своих не стеснялся. Он знал, что люди всё равно знают про эту историю, знают их взаимоотношения, все перипетии этой любви. Видели слёзы Чингиза все: и местная партийная верхушка, и журналисты, и присутствующая на похоронах публика. После Джамили, его прекрасной Моны Лизы, это была уже вторая такая утрата. Он был безутешен, одинок, несчастен. Известный киргизский критик Кенешбек Асаналиев, близкий друг писателя с молодых лет, говорил автору этих строк, что теперь у Айтматова в жизни осталось только одно — литературное творчество.

Но в те же 1970-е произошло и весьма приятное в жизни писателя событие. В 1978 году он стал Героем Социалистического Труда. Так государство отметило его 50-летие. К этому времени он уже был лауреатом

Ленинской премии, двух Государственных премий, дюжины других престижных знаков отличия. Так что, наверное, этот высокий знак признания таланта он воспринял достаточно спокойно. А может, как и буланый иноходец Гульсары, испытал прилив нового вдохновения.

ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Легенда о манкурте

Обращение к прошлому у Чингиза Айтматова всегда было не проявлением обыкновенного интереса к истории, а взглядом в глубины времени, поиском истины и попыткой самопознания. На протяжении почти всей творческой жизни автора романа «И дольше века длится день (Буранный полустанок)» глубоко волновал феномен коллективной народной памяти. Потому неудивительно, что он постоянно обращался к грандиозному киргизскому эпосу, сохранившемуся в изустной форме и передававшемуся из поколения в поколение. «Манас» в глазах Айтматова всегда оставался «энциклопедией героизма и гражданственности». Он мечтал, чтобы новые поколения никогда не забывали не только «Манас», но и минувшие времена, особенно те колоссальные трудности, которые пришлось пережить народу во время Второй мировой войны. И посвящение последней военной повести «Ранние журавли» сыну Аскарму — это своего рода послание, адресованное поколениям, выросшим в послевоенные годы.

Сквозь призму событий и легенд минувших лет ему лучше виделись проблемы современности, он как бы дешифровал скрытые мотивы текущих событий и направлений мысли. И вот что примечательно: как сказано в древней книге премудростей, он часто бывал печален. Кто-то хорошо сказал, что у него всегда какая-то «вселенская грусть».

Примерно с начала 1970-х годов Айтматов буквально зачитывался Библией, старинными апокрифами, преданиями, с удовольствием цитировал их в форме эпиграфов к своим произведениям. Он восхищался Книгой Иова, равно как и Песнью Песен Соломона. Ему близка была позиция мыслителей, полагавших, что человечество, сильно продвинувшись со времён античных и средневековых в плане цивилизационном и научно-техническом, не прогрессировало однако в смысле интеллектуальном и морально-этическом. «И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Эти слова из Книги Екклесиаста

были о нём.

Об Айтматове 1970-х можно сказать: несчастный создатель киргизской Моны Лизы. И в то же время — невероятно популярный, общенародно любимый, массово издаваемый и пристрастно читаемый писатель, осыпанный всеми мыслимыми и немыслимыми наградами и премиями. По всем внешним признакам, — баловень судьбы, избранник фортуны, любимец женщин, почти открыто выражавший свою интимную привязанность к красавице-балерине и в то же время долго и мучительно не осмелившийся уйти от первой жены. Отсутствие внутреннего спокойствия, душевной гармонии отражалось даже на его лице: уже к сорока годам оно покрылось сетью морщин, он поседел и даже немного сгорбился. Сделавшиеся хрестоматийными грустно-ироничные слова Расула Гамзатова: «Дорогая Фатимат! Сiju в Президиуме, а счастья нет» — мог бы повторить и Айтматов.

Но главным, что занимало его, художника с отчётливо имперским стилем мышления, был космос — как образ того, что обычно именуют тоталитаризмом, зомбирующим человека. Помнится, он однажды поделился со мной впечатлением от огромного стадиона — набитого до отказа болельщиками, гудящего, как взбесившийся ослеплённый циклоп, где люди, недовольные проигрышем любимой команды, готовы были с остервенением броситься друг на друга. Это зрелище по-настоящему поразило Айтматова. Оно даже подсказало ему сюжет романа с условным названием «Стадион и флейта», отражающим мысли и ощущения, связанные с тотальной манипуляцией человеческого разума, что ведёт к агрессии, террору, социальной, расовой, политической нетерпимости. Теперь, когда мир охвачен пожаром терроризма, межрелигиозными, межкультурными распрями, особенно остро ощущаешь пророческий дар киргизского писателя.

К роману «И дольше века длится день», вышедшему в 1980 году, Айтматова привела вся его жизнь, весь опыт художника, человека, гражданина. Это масштабное полотно о сути тоталитаризма, насыщенное давними наблюдениями и мыслями о индивидуальной и народной памяти. Это тема возникает уже в «Первом учителе», героя которого Георгий Гачев назвал киргизским Прометеем, и продолжается, хотя и подспудно, в повести «Прощай, Гульсары!». Но на рубеже 1970—1980-х годов эта проблематика — так называемые запретные темы, «белые страницы» истории как киргизского, так и других народов Союза, трагедия исчезающих языков и традиций — обрела в его творческом сознании особую остроту.

В эту пору в советском обществе наблюдались процессы, имевшие не временный, не преходящий, а глубинный, фундаментальный характер. Ценностные ориентиры начали меняться достаточно быстро, и чем дальше, тем отчётливее ощущались сомнения в бесспорности советских догматов. В то же время официальная пропаганда вещала о развитом социализме, за которым должен наступать век коммунизма — общество всеобщей гармонии и венец мировой истории, декларировалось, что сформировалась новая историческая общность — советский народ. Писателей призывали «достойно отразить» эту новую действительность, представить образ советского человека во всей его величественной полноте.

Пройдёт всего несколько лет, и газеты, почувствовавшие в эпоху перестройки и гласности вкус свободы и относительного либерализма, будут писать о советском человеке, выросшем на советских учебниках истории, особенно истории КПСС, простаивавшем в бесконечных очередях за всем, в том числе за томящимися в неволе книгами.

А поиск запрещённых книг был, в сущности, поиском истины, ответов на вопросы, которые волновали каждого сознательного гражданина. Именно в этот период поиска правды, поиска новых путей как в экономике, так и в духовной жизни, люди шли за такими фигурами, как Ч. Айтматов, В. Быков, А. Адамович, А. Приставкин, которые в полном смысле слова стали властителями дум, проводниками всего нового, фактически выступая неофициальными оппонентами советской идеологии, проводимой политики.

В 1980-е годы наступил период, который молодой в ту пору прозаик и эссеист Виктор Ерофеев назвал «поминками по советской литературе». Действительно, литература, как исторически сложившееся культурно-идеологическое образование, как более или менее целостная художественно-эстетическая система, испытывала глубокий кризис. Остро ощущалась потребность в качественно новых методах обобщения и художественного анализа. Происходящие в обществе исторические изменения и открытия нуждались в иных литературных формах, в новом слове. Эту потребность во многом восполнила легализация ранее запрещённых либо находившихся в литературной опале произведений. Событиями в культурной жизни всё ещё живой советской страны стали романы и повести А. Рыбакова, В. Дудинцева, А. Приставкина, В. Шаламова, Ю. Домбровского, В. Гроссмана. Цензурные запреты были сняты с произведений А. Солженицына.

На передовые позиции вышла публицистика, пробуждающая общество, открывающая глаза широким массам. Статьи Ч. Айтматова, Ф.

Бурлацкого, О. Лациса, В. Бовина, Ю. Карякина, А. Стреляного и многих других, напечатанные в ведущих изданиях, особенно в «Литературной газете», «Известиях», даже в «Правде», значительно способствовали осознанию необходимости коренных перемен в советском обществе. Тиражи периодических изданий взлетели до облаков, люди взахлёб читали литературные новинки, а транслируемые в прямом эфире сессии народных депутатов СССР превратились в арену открытых политических баталий.

Общесоюзные процессы нашли своё отражение и на родине Айтматова. Бурное, скачкообразное развитие киргизской литературы послевоенных лет, особенно в 1960—1970-х годах, наличие в ней не одного, а нескольких ярких имён, особая атмосфера в культурной жизни, когда книга, в целом художественное слово обрели высокий общественный авторитет, нашло своё продолжение и в 1980-х, хотя наступивший кризис давал о себе знать во всём, в том числе и в литературном процессе.

Самым большим событием в культурной жизни республики этого периода стала публикация переводов ранее запрещённых произведений К. Тыныстанова, М. Кылыча, Калыгула, Арстанбека. Иными словами, не только литературная атмосфера, но и общественный климат в стране начал меняться стремительно, и в этом едва ли не самую влиятельную роль сыграла публицистика.

Мощная инерция прежних лет и энергетика накопленного творческого потенциала давали о себе знать, несмотря на экономический кризис, киргизская литература не выказывала признаков увядания. И прозаики, и поэты, и драматурги продолжали творить, печататься, выпускать книги. Именно в 1980-е появились произведения, ставшие вехой не только в киргизской, но и во всей советской, а иные — и в мировой литературе.

Одним из столпов вышеупомянутого «нового мышления» и властителей дум советского общества 1980-х годов выступил Айтматов, чьи произведения, выступления в печати, статьи и интервью оказали весьма глубокое влияние на современников. И всё же венцом его творческих усилий рубежа 1970—1980-х годов стал роман «И дольше века длится день».

Долгое время Чингиз Айтматов считал наиболее органичным для себя жанром повесть, хотя ещё в «Материнском поле» ощущался романский потенциал. Пожалуй, это произведение можно было бы назвать повестью-эпопеей, подобно тому, как Лев Якименко однажды назвал «Судьбу человека» М. Шолохова «рассказом-эпопеей». Черты романного мышления были явственны и в повести «Прощай, Гульсары!», да и в других сочинениях мастера, прежде всего в «Белом пароходе».

И вот ровно десять лет спустя появляется роман «И дольше века длится день», сразу же вызвавший горячие отклики не только в литературной среде, но и в целом в обществе, ставший без преувеличения вехой в истории многонациональной советской публицистики. Роман заставил своих читателей пересмотреть взгляд на многие вещи, события и процессы, связанные с советской историей и политикой, став весьма серьёзным ударом по советской идеологии.

Правда, путь его к читателю оказался не простым. Всемирная слава писателя очень мало значила для всевидящего ока советской цензуры, которой всё-таки удалось заставить автора поменять первоначальное название и согласиться на некоторые купюры в тексте. Позже сам Айтматов вспоминал: «...Осложнения романа на пути в свет начались с первых шагов. Первозданное, родное, если можно так выразиться, название книги было “Обруч”. Имелся в виду “обруч” манкуртовский, трансформированный в обруч космический, “накладывающийся на голову человечества” сверхдержавами в процессе соперничества на мировое господство... Однако цензура быстро раскусила смысл такого названия книги, потребовала найти другое наименование, и тогда я остановился на строке из Шекспира в переводе Пастернака “И дольше века длится день”^[35]. Исходил при этом из того, что лучше поступиться с названием, чем содержанием. Но в “Роман-газете” и в издательстве “Молодая гвардия” и такое название не нашло согласия. Потребовали более упрощённое, “соцреалистическое” название — и тогда появился на свет “Буранный полустанок”, в роман-газетном варианте с литературными купюрами мест, показавшихся идеологически сомнительными. Шёл на это, скрепя сердце, выбирая наименьшее из зол. Главным было опубликовать книгу. Не поставить её под удар фанатичной вульгаризованной критики. Теперь эти дела в прошлом, но тогда идеология являла собой доминирующую силу»^[36].

Роман получился самым политическим и, одновременно, наполненным глубоким философским и морально-этическим содержанием произведением. Вновь в эпицентр гуманистических исканий был поставлен человек, в котором, как однажды выразился писатель, фокусируется всё, чем живёт мир, общество. По убеждению Айтматова, человек — это некий сложный конгломерат прошлой и настоящей жизни, истории и той этнической среды или того народа, которому он принадлежит. Без этого он — ничто, химера, пылинка во Вселенной.

Естественно, любое время формирует личность по-своему, и вторая

половина XX века в этом смысле не исключение. Она — зеркало времени, частица сложной целостности, и облик её детерминирован всем сложным единством национальной идентичности, веры, морально-этических постулатов, которые человек унаследовал, усвоил и которые, в конечном счёте, определяют его поведенческий кодекс.

Это убеждение киргизского писателя получилось во многом созвучным мысли Карла Ясперса: «Жизнь человека как такового в мире определена его связью с воспоминаниями о прошлом и с предвосхищением будущего. Он живёт не изолированно, а как член семьи в доме, как друг в общении индивидов, как соотечественник, принадлежащий некоему историческому целому. Он становится самим собой благодаря традициям, позволяющим ему заглянуть в тёмные глубины своего происхождения, и живёт, ощущая ответственность за будущее своё и своих близких; погруженный на долгое время в субстанцию своей историчности, он действительно присутствует в мире, создаваемом им из полученного наследия. Его повседневное существование охвачено духом чувственно присутствующего целого, маленького мира, каким бы он ни был скудным. Его собственность — неприкосновенное тесное пространство, которое определяет его принадлежность к общему пространству человеческой историчности»^[37].

Слово «манкурт» Айтматов заимствовал из эпоса «Манас». Он об этом писал и в этом признавался не раз. После публикации романа появился даже термин — «манкуртизм». Историческое и нравственное беспамятство, культурно-исторический нигилизм, намеренная манипуляция сознанием людей, идейное отлучение народов от их исторического прошлого, культурно-духовного наследия, языка, родства и, как следствие этого, глубокий имморализм, бездуховность — вот что такое «манкуртизм» и вот как он был понят уже самыми первыми читателями романа.

Читательский успех «И дольше века длится день» был беспрецедентным. Имя Чингиза Айтматова сделалось едва ли не символом процессов, идущих в советском обществе.

Центральный герой романа Едигей Буранный сфокусировал в себе все самые заветные мысли писателя. Художественная семиотика книги отличается ёмкостью и содержательной глубиной: железная дорога, маленький полустанок, затерянный в великих казахских степях, космодром, ракеты, верблюды и любовь. Айтматовский глобализм проявляется во всём, прежде всего — в сюжетной структуре романа, когда из крохотного полустанка нити мыслей, чувств и страстей тянутся к горизонтам всего мира, даже внеземных пространств. При этом художественная площадь

романа заселена крайне скудно, особенно на фоне огромных степных просторов, не говоря уж о космосе и временных пластах, возникающих вместе с мифами, легендами и преданиями прошлого, которые образуют сложный повествовательный хронотоп. Но каждый персонаж, каждый эпизод или упомянутые легенды и мифы несут плотную художественно-смысловую нагрузку. Таковы Абуталиб, Сабитжан, Укубала, Найман-эне, Манкурт. Совершенно справедливо Юрий Суровцев, известный русский критик 1970-х, охарактеризовал произведение Айтматова как «роман-контрапункт».

Роман имеет свой особый сюжетный темп, очень крепкую конструкцию, где, как сказал Лев Толстой об «Анне Карениной», «своды сведены так, что не видно, где гвоздь». А особый, поистине космический ритм произведения воплощён уже в рефрене, возникающем в повествовании всякий раз, как меняется тема или образуется новый сюжетный поворот:

«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли жёлтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад, с запада на восток...»

Одна из главных тем романа — тема исторической и нравственной памяти, имеющей, по давнему убеждению писателя, первостепенное значение в нравственной жизни человека, нации в целом. Ясно, что Айтматов тем самым задел едва ли не самый болезненный нерв всего советского общества, в котором считалось нормой представлять историю народов и СССР в целом в духе официальной доктрины «научного коммунизма», не допуская ни малейших от неё отклонений. Наиболее острым был вопрос о судьбах национальных языков. Никто на окраинах Советского Союза не отрицал роль русского как языка межнационального общения, но нельзя же жертвовать при всём его величии и могуществе своим кровным наречием, языком собственной культуры, исторической памяти, духовности. В романе Айтматова рельефно возникает и эта проблема.

Старинный миф о манкурте, которого жуаньжуаны, надевая на голову человека сырую шкуру верблюда, лишают памяти, настолько свежо и актуально прозвучал в контексте советского общества времён «застоя», что почти мгновенно слово «манкурт» стало, как отмечено выше,

политологическим термином.

Вот как описывает Айтматов превращение человека в манкурта: «Жуаньжуаны уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритьё головы, опытные убийщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освеживая верблюжью шкуру, первым делом отделяли её наиболее тяжёлую, плотную войную часть. Поделив выю на куски, её тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергся такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого».

Этот образ в контексте айтматовского романа наполнялся более широким, метафорическим смыслом, и сразу же был воспринят и критиками, и читателями как художественная реакция писателя на те процессы, которые имели место в советском обществе с его автократической идеологией, ограничением свободы слова, политическими запретами, «белыми пятнами» в истории, строжайшей цензурой, коммунистическим агитпропом, научной «лысенковщиной» и целыми Монбланами заказной соцреалистической псевдолитературы.

В предисловии к первому изданию своего романа Айтматов написал: «Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний... Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить своё место в мире, человек, лишённый исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днём»^[38].

Неудивительно, что роман киргизского писателя получил самый горячий отклик не только в Советском Союзе, но и во всём читающем мире, расколотом «холодной войной» с её «железным занавесом» и гонкой вооружений. В мире, где каждая сторона стояла насмерть за свой интерес, своё видение мира и свою правоту.

Став, как уже было сказано, знаменательной вехой в истории не только киргизской, но всей советской литературы, роман был воспринят как крик души, как искренняя исповедь думающего человека, сокровенное слово писателя, который лично испытал на себе, на судьбе своей семьи и народа

все драматические перипетии страны по имени Советский Союз.

Да, эта страна на первых этапах ярко символизировала надежды и чаяния миллионов людей на планете как государство реального социализма, но её последующее развитие разочаровало даже самых преданных ей интеллектуалов мира, наподобие Луи Арагона и Пабло Пикассо. А к концу 1970-х — началу 1980-х, особенно после вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году, после бойкота Олимпиады в 1980-м, после сбитого советской ракетой корейского пассажирского самолёта «Боинг-747» над Сахалином в 1983-м очень многие в мире в корне изменили своё отношение к СССР, к его политике и будущему.

Между тем неуклонно приближалась новая, покуда незнакомая эпоха. Началась политика перестройки и гласности, которая заставила пересмотреть многие ценности, казавшиеся раньше незыблемыми. Пересмотреть не только то, что уже было написано и издано, но и то, что было накоплено, вошло в историю литературы. Некоторые ведущие писатели Киргизии 1980-х годов в буквальном смысле слова заново переписывали свои произведения, дописывали уже давно опубликованные тексты. Не был исключением и Чингиз Торекулович. Так, он дополнил роман «И дольше века длится день» новеллой «Белое облако Чингиз-Хана», а раннюю повесть «Лицом к лицу» — несколькими новыми эпизодами.

Таких случаев было много. Но ведь всё написанное ранее не перепишешь, не адаптируешь к новым обстоятельствам. В этом убеждает опыт самого Чингиза Айтматова.

БИТВА ТИТАНОВ

Токомбаев против Айтматова

Кто-то из умных людей говорил, что ничто не меняется так быстро, как прошлое. Мы с высоты сегодняшнего дня видим, как наше историческое прошлое, всё больше отдаляясь от нас, переворачивается, меняя свои привычные контуры, обнаруживая какую-то новую грань, восхищая или пугая своими опасными зигзагами.

Недавние советские годы. Они только на первый взгляд кажутся стабильными и идеологически одномерными. Как теперь выясняется, в их недрах накапливалась вулканическая энергия, происходили идейно-политические и социальные извержения, шла постоянная борьба, возвышающая одних и столь же стремительно низвергающая с пьедестала других.

Не будем говорить о 1920—1930-х годах прошлого столетия, когда новая советская власть силой оружия и массовыми репрессиями самоутверждалась, обретая свой окончательный идеологический профиль. Но даже в период хрущёвской «оттепели» и в поздние годы СССР нашу тихую и мирную киргизскую республику сотрясали свои идейно-политические конфликты, нередко отзываясь гулким эхом в масштабах большого Союза. Таким получился ставший почти легендарным идеологический диспут, можно сказать, жёсткий конфликт между классиком киргизской литературы Аалы Токомбаевым и Чингизом Айтматовым. Было это в 1987 году, в закатный период Советской империи.

Суть конфликта сводилась к тому, что Токомбаев выступил категорически против так называемого орозбаковского варианта великого киргизского эпоса «Манас», вышедшего под редакцией Айтматова. В этом издании, по мнению классика, слишком рельефно проступал националистический пафос, чуть ли не захватническая идея, что, с одной стороны, не свойственно эпосу, с другой — может негативно отразиться на международных, прежде всего советско-китайских отношениях. Аксакал киргизской литературы, выросший в атмосфере «классовой борьбы» 1920—1930-х годов, явно направлял стрелы критики, в которой отчётливо проступали идеологические мотивы, против Айтматова, действительно продвигавшего «Манас» во всём мире, открыто выступая при этом

радетелем киргизского языка (да и вообще всех нерусских языков, ставших маргинальными). Чингиз Торекулович сделался как бы выразителем культурных интересов всех малых народов СССР, ничуть не отрицая при этом выдающейся роли русского как языка межнационального общения, как языка-объединителя. Мастер литературы, одинаково свободно пишущий на двух языках, он лучше многих осознавал эту сложную диалектику.

Следует иметь в виду, что в 1980-е годы Айтматов-романист, в чьём мощном воображении соткался образ манкурта, почти открыто шёл наперекор генеральной линии Коммунистической партии, а идеологический «вред» произведения киргизского писателя наносили ничуть не меньший, нежели выступления тех же диссидентов. Но его спасала горбачёвская политика демократизации и гласности, а иногда, когда писателю грозила реальная опасность, Михаил Сергеевич выступал в его поддержку лично.

Одним из первых Чингиз Айтматов заговорил об униженном положении национальных языков, об отсутствии школ на местных языках даже в столицах союзных республик. Его выступление на дискуссии об орозбаковской версии «Манаса» вызвало огромный резонанс прежде всего в тех же республиках, да и в Европе отозвалось эхом, что ничуть не обрадовало официальную Москву. Впервые Айтматов, который считался баловнем Кремля, чьё имя систематически упоминалось с самых высоких трибун как символ достижений национальной политики СССР, ощутил повеявший из столицы холодок.

В те годы мы все считали этот эпизод киргизской истории, то есть конфликт Айтматова с Токомбаевым, неким досадным недоразумением, объясняя его лишь амбициями двух грандов киргизской культуры. Но потом выяснилось, что это далеко не так. За этим конфликтом стояли слишком большие интересы — интересы большой политики, интересы всей советской империи.

Теперь, спустя почти 40 лет, обнаружилось, что терпение верхов тогда всё-таки лопнуло, и власть намеревалась каким-то образом приструнить Айтматова, заставить замолчать. И, судя по всему, собиралась сделать это руками его же соотечественника — Аалы Токомбаева, одного из зачинателей киргизской советской литературы, пользовавшегося заслуженным авторитетом и у себя дома, и далеко за его пределами. За аксакалом стояли местные секретные службы и такие всесоюзно популярные газеты, как «Правда», «Известия», «Комсомольская правда». А тайно направляли этот нешуточный идеологический диспут союзные

структуры безопасности, всесильный КГБ.

Со временем нападки на писателя только усиливались, постепенно принимая характер продуманной идеологической компании. В Киргизии сформировалась группа рьяных защитников Токомбаева, выступавших в печати с ведома местных спецслужб и партийных организаций. Чингизу Торекуловичу приходилось всячески отбиваться от этих атак. Тем временем и во всесоюзной прессе начали появляться острые критические статьи о его творчестве, авторы которых тоже не особенно жаловали вчерашнего фаворита.

И всё-таки главным оппонентом Чингиза Айтматова оставался Аалы Токомбаев, признанный классик киргизской литературы, писатель и поэт действительно въедающийся. Он обвинил Айтматова в «национализме», в неуместном, на его взгляд, возвеличении «Манаса». У него нашлось немало сторонников, но у Айтматова их оказалось значительно больше. Получилось так, что спор вокруг родного языка разделил киргизов на два лагеря — тех, кто настаивал на широком преподавании этого языка во всех школах, и тех, кто считал этот вопрос несвоевременным и надуманным, используемым только для разжигания националистических чувств. На стороне последних негласно стояло местное партийное руководство. Интересно отметить, что и теперь спор вокруг судеб киргизского языка не утихает. Насколько можно судить, продолжится он и в обозримом будущем.

Кульминацией соперничества двух маститых художников стало общественное обсуждение позиции Токомбаева в Союзе киргизских писателей. Собралась вся национальная элита, «весь цвет киргизской интеллигенции», как заметил Айтматов. Он же, как председатель Союза писателей Киргизии, открыл собрание краткой вступительной речью. И начал предоставлять слово тем, кто, по всей видимости, заранее подготовился и намеревался дать старейшине киргизской литературы крепкий отпор. Многие выступали по бумажке, почти все однозначно поддерживали Чингиза Торекуловича. Атмосфера в зале накалилась, все ощущали, что участвуют в событии крупного, чуть не исторического масштаба. Да так оно, наверное, и было.

Собрание длилось почти пять часов. К его чести, аксакал, пришедший на собрание со своими взрослыми детьми, вёл себя весьма достойно. Иные выступления сверстников по перу, таких же как он «зачинателей национальной литературы», вызывали у него усмешку. Да и то сказать: обвинения против него выдвигались порой совершенно абсурдные. Вполне возможно, другой человек попросту не выдержал бы такого шквала прямых нападок и издевательств. А Токомбаев держался. Вот тогда и подумалось,

что в зале сидит человек, который пережил времена похуже — времена Ежова и Бериин, массовых арестов 1937—1938 годов. Только потом выяснилось, что за ним стоял — не выдавая себя и занимая позицию стороннего наблюдателя — Центральный комитет партии. Так что олимпийское спокойствие Токомбаева реально подкреплялось негласной поддержкой местной власти.

Выступали минимум человек двадцать, в их числе и признанные аксакалы литературы, такие как Т. Сыдыкбеков, Т. Уметалиев, представители более молодого поколения, — Т. Касымбеков, М. Борбугулов и другие. Держали речь учёные, критики, а также люди кино и театрального искусства.

Напряжение в зале достигло своего предела, когда основные ораторы исчерпали свои аргументы и следовало предоставить трибуну главному обвиняемому — Аалы Токомбаеву. Он просил дать ему возможность выступить. В зале сразу поднялся шум, — большинство слушать аксакала не желало. Особенно рьяно протестовал профессор М. Борбугулов, известный в стране литературовед и близкий товарищ Айтматова: мол, и без его слов всё ясно. Зал одобрительно загудел, и Токомбаеву высказаться не дали. Создавалось впечатление, что он и сам особо на трибуну не рвался, сказав лишь несколько слов с места в том смысле, что не сошёл с ума, чтобы выступить против «Манаса», за который отдал полжизни. Видя, что зал его не поддерживает, патриарх поднялся с места и пошёл к выходу.

Таким образом, победителем вышел Чингиз Айтматов — потому, главным образом, что его выступления в защиту позиций родного языка оказались созвучны нарастающей волне киргизского патриотизма.

Победителю этот успех только добавил популярности, побеждённый же сделался чуть ли не изгоем. Зазвучали выступления ряда литературоведов и критиков, утверждавших, что Токомбаев вовсе не был зачинателем национальной литературы, что таковыми следует считать, например, К. Тыныстанова и С. Карачева. Оказалось — по суждению критика А. Эркебаева — что его знаменитая ода «Время прихода Октября», считавшаяся образцом новейшей киргизской литературы, опубликованная в первом номере только что возникшей киргизской газеты «Эркин-Тоо» 7 ноября 1924 года, на самом деле была написана под сильным влиянием стихотворения «Сегодняшний день» Тыныстанова.

Но особенно агрессивно прозвучал «Ответ А. Токомбаеву», напечатанный в еженедельнике «Киргизстан маданияты». «Ответ» был построен на системе контраргументов по всем пунктам, по которым Токомбаев обвинял Айтматова, особенно в связи с геополитическим спором

с соседним Китаем. В нём, в частности, говорилось: «Достаточно одного упоминания, промелькнувшего в устах одного из персонажей эпоса, слова о Китае (Кытай), причём упоминания в форме сомнительного предположения, сводящегося к тому, а не станет ли, мол, вдруг Китай оспаривать такие-то и такие земельные пределы, название которых представляет ныне интерес разве что с точки зрения этимологической расшифровки давно устаревшей туземной топонимики, как Токомбаев тут же делает неотразимый вывод о том, что эта мимолётная фраза из стародавнего сказания кочевников непременно, самым непосредственным и страшным образом повлияет на современные официальные межгосударственные устои. Осенённый такой уникальной детской догадкой, Токомбаев потрясает трибуны, предвещая чуть ли ни мировую войну в масштабах чуть ли не всего восточного полушария. Караул! Китай отхватит наши земли! Удивительно, что слушатели при этом ещё не падают со стульев от таких откровений уважаемого аксакала.

Но если уж всерьёз вдаваться в сие открытие, то, собственно о каком Китае идёт речь? Какой Китай, в какой его ипостаси имеется в виду Токомбаевым — этнический, родоплеменной, географический, государственный? Ведь “Китаев” в прошлом было много, ведь с тех пор Китай много раз возникал и распадался как конгломерат враждовавших империй; в таком случае, Китай какой династии, какой эпохи, какого императорского девиза, в какие времена? Понятие Китая для древности достаточно аморфное, поскольку в этом регионе эклектика множества племён и народностей способствовала возникновению самых различных феодальных образований, так же быстро появлявшихся на свет, как и исчезающих бесследно. Вместо беспочвенных нападок пусть вначале Токомбаев обнаружит и кодифицирует в “Манасе” именно тот Китай, который он имеет в виду, выдвигая свои “ужасные” претензии. И тогда выяснится: тот ли это Китай, от которого нам необходимо таиться даже во сне. И наконец, в самом составе киргизского народа есть племенные самоназвания “Кытай”. Неужто Токомбаев всерьёз полагает, что только он один бдительный страж территорий, неусыпный провидец всех будущих бед?»

Естественно, у сторонников Токомбаева тоже нашлись свои аргументы и доводы. Сам же Токомбаев отреагировал так: «Так как же повернётся мой язык киргиза против родника, реки, океана, наконец, питающего, обогащающего меня. Мою благодарность русскому языку, который, хотя плохо знаю, некоторые преподносят как национальный нигилизм. Значит, захотели понять именно так и намеренно противопоставляют меня моему

народу...»

Нужно подчеркнуть, что достаточно грубый, почти оскорбительный ответ Токомбаеву вызвал у многих людей протест. Например, А. Черёмушкину возмутил, прежде всего, тон: «Давайте допустим предельную крайность: Аалы Токомбаев — преступник, всё его творчество — плод нашей пропаганды, он будет лишён почётнейших званий Народного поэта и Героя Социалистического Труда, но и тогда позволительно ли культурным людям говорить в таком тоне не просто с пожилым, а с очень старым человеком?» И она приводила цитаты: «...Начнём с того, что в образе мышления А. Токомбаева, в его неизменно ЛЕВАЦКО-ПОГРОМНЫХ (выделения в цитатах мои. — А. Ч.) речах, с которыми он позволяет себе выступать публично. Токомбаеву и ЕМУ ПОДОБНЫМ надо отвыкать, наконец, от схоластических идейных обвинений эпоса и в этом ракурсе нападок. Вам бы, т. Токомбаев, сделать для культуры своего народа столько, сколько сделал Сагымбай Орозбаков. Всегда есть возможность осмыслить свои ошибки, пересмотреть свои, не подтвердившиеся взгляды, нежели до конца владеть жалкое и ничтожное бремя посягнувшего на непосягаемое».

Журналистка была права. Действительно, ответ Токомбаеву грешил грубостями и неаргументированными утверждениями. Его авторы явно не сумели совладать со своими эмоциями. Да и поставить заслуги Токомбаева под сомнение было не самым умным ходом, потому что вся страна знала классические тексты поэта наизусть, и никому даже в голову не могло прийти, что он выскочка и самозванец. Точно так же нелепо было заподозрить в Токомбаеве, столь много сделавшем в былые годы для подготовка эпоса к изданию, врага и оппонента «Манаса». Как и Айтматов, он всегда оставался самым решительным пропагандистом величайшего культурного наследия киргизов. Нет, двух крупных деятелей культуры стравливали намеренно, в литературу вмешалась большая политика, а такое ничем хорошим никогда не кончается.

Да, но откуда такое предположение, где доказательства того, что за этим диспутом стояли серьёзные силы? Их можно найти на страницах центральной прессы: в «Известиях» и «Комсомольской правде» печатались статьи журналистов Г. Шипитько и В. Романюк, уличавших «идейное двоедушие» Айтматова, его заигрывание с национальными чувствами народов. Битва двух киргизских грандов стала известной во всём Союзе, а слава Айтматова — защитника местных языков и культур — росла в стране не по дням, а по часам. В то время в Киргизстане он воспринимался чуть ли не живым Манасом.

Как свидетельствует очень близкий к Чингизу Торекуловичу человек, в

конце 1980-х секретные службы вплотную подбирались к писателю и даже собирались его задержать, хотя что делать потом с «задержанным», им самим было, кажется, непонятно. Писатель в то время работал в Переделкине под Москвой, ни о чём не подозревая. Вдруг раздался телефонный звонок: близкий знакомый предупредил о предстоящем задержании, которое, вероятно, должны были осуществить с ведома самого Владимира Крючкова, тогдашнего главы КГБ СССР. Ошарашенному столь неожиданным известием писателю тот же доброжелатель посоветовал немедленно найти способ дозвониться до Горбачёва. Айтматову это удалось, и президент пресёк интриги. Хорошо было бы узнать обо всём поподробнее, а пока, в отсутствие достоверной информации, можно лишь предположить, что Михаил Сергеевич, видимо, разъяснил шефу КГБ, какого масштаба разразится политический скандал, если «возьмут» всемирно известного писателя.

Да, Айтматову было тогда нелегко. Он больше жил в Москве, чем в Бишкеке, потом его направили послом в крохотный Люксембург, а с распадом СССР писатель стал представлять суверенный Киргизстан в Брюсселе.

С того времени утекло немало воды. Наступила новая эпоха. Страсти тех лет давно улеглись. Время всё расставило по своим местам, появились новые проблемы с тем же «Манасом», но это уже другая история.

Сама же битва титанов, во многом подогревавшаяся извне, никак не уменьшила творческого веса, исторических заслуг и общенационального авторитета ни одного из этих великих людей. Хотя осадок остался.

Да и для обоих участников диспут даром не прошёл, стоил немало здоровья и нервов. Токомбаев вскоре скончался — этот затянувшийся жёсткий публичный спор всё-таки выбил его из колеи, расшатал здоровье, и столь уважаемый человек покинул сей мир в 1988 году.

Автору же «Джамили» пришлось оставить престижную должность председателя Союза писателей Киргизии и уехать в Москву в качестве главного редактора «Иностранной литературы». Считалось, что позиции Айтматова в Москве почти непоколебимы, но всё оказалось далеко не так. Тем временем политика перестройки захлебнулась в собственной пене, а Горбачёв неуклонно терял в авторитете.

Но история — поучительная и очень драматическая — осталась.

БОГ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

В перестроечные годы постепенно начали вслух говорить о Боге, значении религии, душе. Десятилетиями третируемая и почти запрещённая тема вдруг стала вполне легальной, интеллектуально модной. Рассуждать о Боге, о необходимости покончить с атеизмом, особенно воинственным, постепенно стало признаком хорошего тона. Но помимо моды была и глубокая внутренняя потребность в изменении сознания, душевного настроя.

Творчество Чингиза Айтматова ярко свидетельствует об этом. В романе «И дольше века длится день» есть примечательный эпизод, когда Буранный Едигей, простой рабочий, воспитанный в духе советской атеистической пропаганды, хоронит старшего товарища Казангапа.

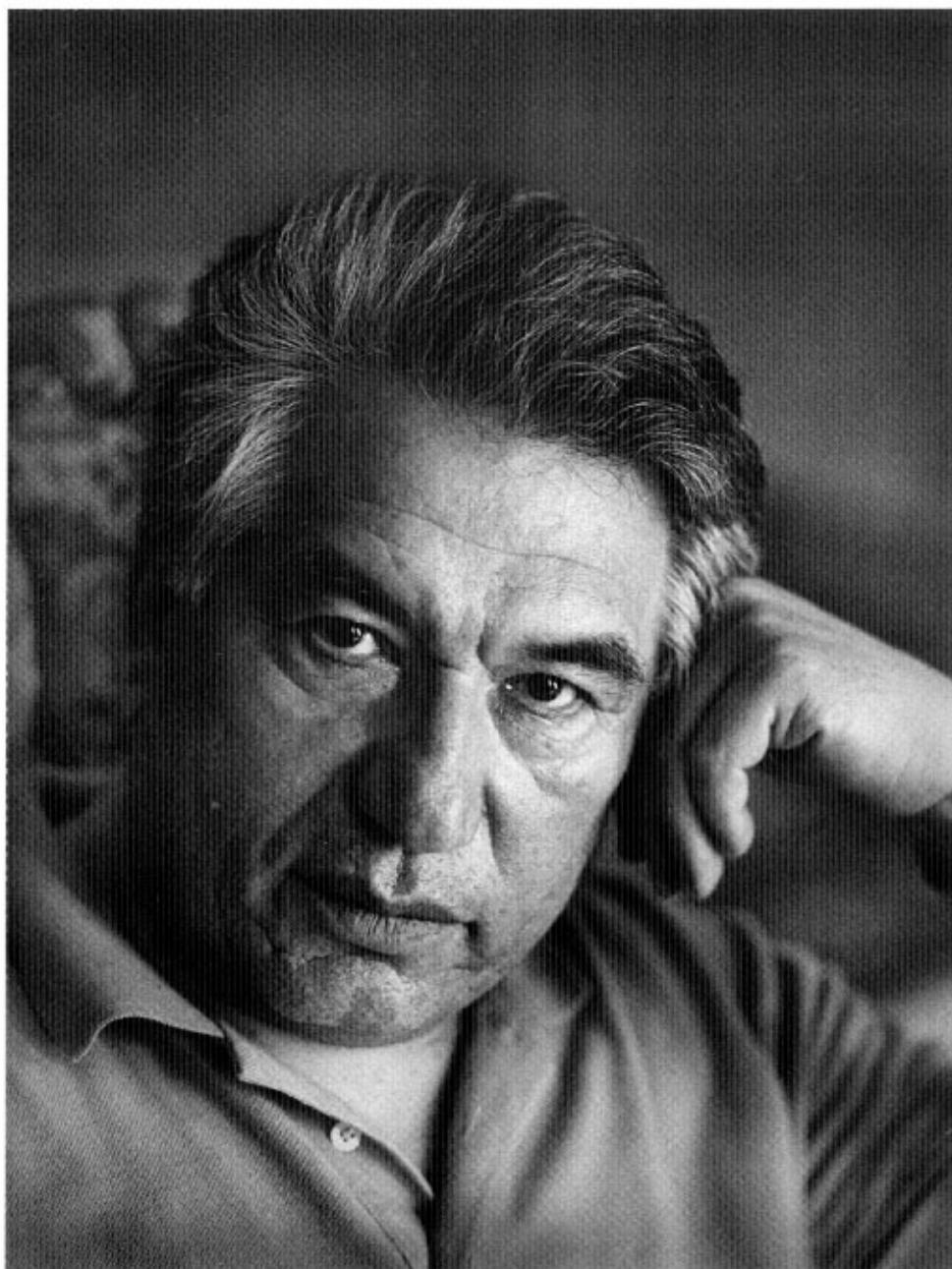
«Думалось ему о том, что никто здесь не знал молитву. Как же они друга будут хоронить? Какими словами заключат они уход человека в небытие? “Прощай, товарищ, будем помнить?” Или ещё какую-нибудь ерунду? Едигей вспоминал про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведённый порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращённых к Богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверное, и сочинялись молитвы. Ведь до Бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живёт человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, примиряется».

Вот так айтматовские герои 1980-х интуитивно, путаясь на пути жизненном, приближались к Богу, пытались понять сокровенную тайну человеческого духа.

Таже тема вновь возникла в новом романе писателя с несколько апокалиптическим названием «Плаха» (1986 год), только теперь Айтматов, используя те же самые приёмы и сюжетные конструкции, что и первом своём романе, пытаясь связать воедино разрозненный, но взаимосвязанный мир людей, мир религий, чувств и страстей, охватить его единым художественным взглядом, ощутить тайные ритмы истории, разворачивает более широкое художественное полотно. Более зримо проявился айтматовский идейно-художественный «глобализм», о котором речь шла выше.

Идейно-проблемный замах киргизского писателя оказался поистине впечатляющим — Айтматов в полный голос заговорил о сущностных вопросах, таких как смысл человеческой жизни, вера в Бога, поиск счастья, история и человек в её контексте. В «Плахе» усилился айтматовский *духовный эсхатологизм*, вновь появилось предощущение некоего кризиса человечности, заката многих гуманистических ценностей, нравственности.

Новый роман по построению сюжета получился весьма причудливым, многослойным, организованным, как писал выдающийся филолог Сергей Аверинцев, по принципу коллажа. «Плаха», с её разношёрстной стилистикой, во многом похожей на газетно-журнальную, — это симптом, причём симптом, «отражающий общее состояние культуры». А критик и литературовед Владимир Лакшин своё читательское ощущение сравнил со спуском «с горы на горку». В то время все эти замечания прозвучали как достаточно нелюбимая критика, и Чингиз Торекулович воспринял их весьма болезненно. Реакцию можно понять: стилистическая разношёрстность, коллаж — это не просчёт, а осознанный творческий принцип построения текста. Писатель был глубоко убеждён, что даже очень далеко отстоящие друг от друга явления внутренне сопряжены. Он говорил об этом в одном из интервью «Литературной газете». Иное дело, что не всегда удаётся достичь точности стиля, местами провисает композиция. Так что претензии критиков понять можно.



2 Auto



Нагима, мать писателя.
Город Каракол. 1917 г.

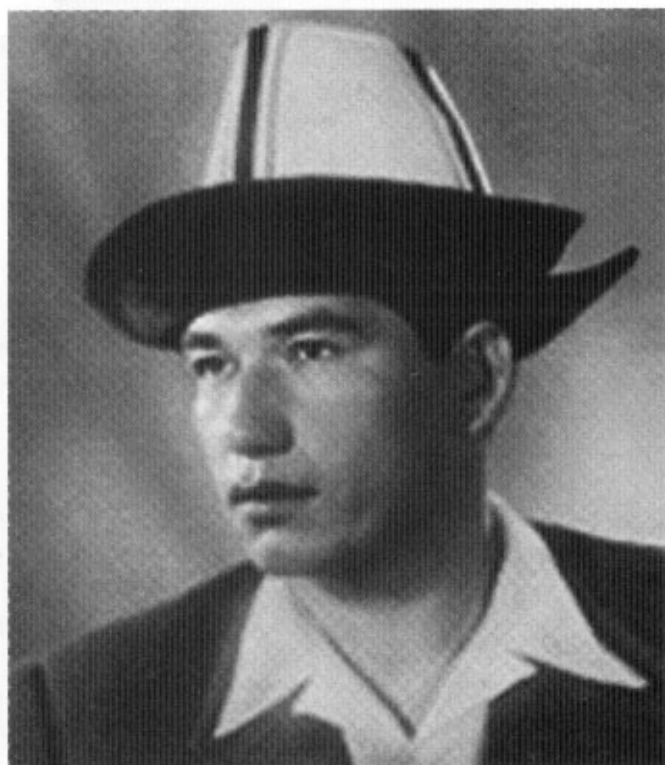


Нагима и Торекул
Айтматовы. 1926 г.

Родители писателя:
Торекул Айтматов
и Нагима
Абдувалиева.
Слева первый —
Чингиз



Чингиз
в молодые годы





Секретное фото Чингиза и Бибисары. Опубликовано посмертно

Фото Бибисары с надписью Чингиза Айтматова





Ленинская премия.
Вручает Н. Тихонов



Чингиз Айтматов,
лауреат
Ленинской премии



Михаил
Шолохов
и Чингиз
Айтматов

Чингиз Айтматов
и великий
сказитель эпоса
«Манас»
Саякбай
Караласв



Среди односельчан



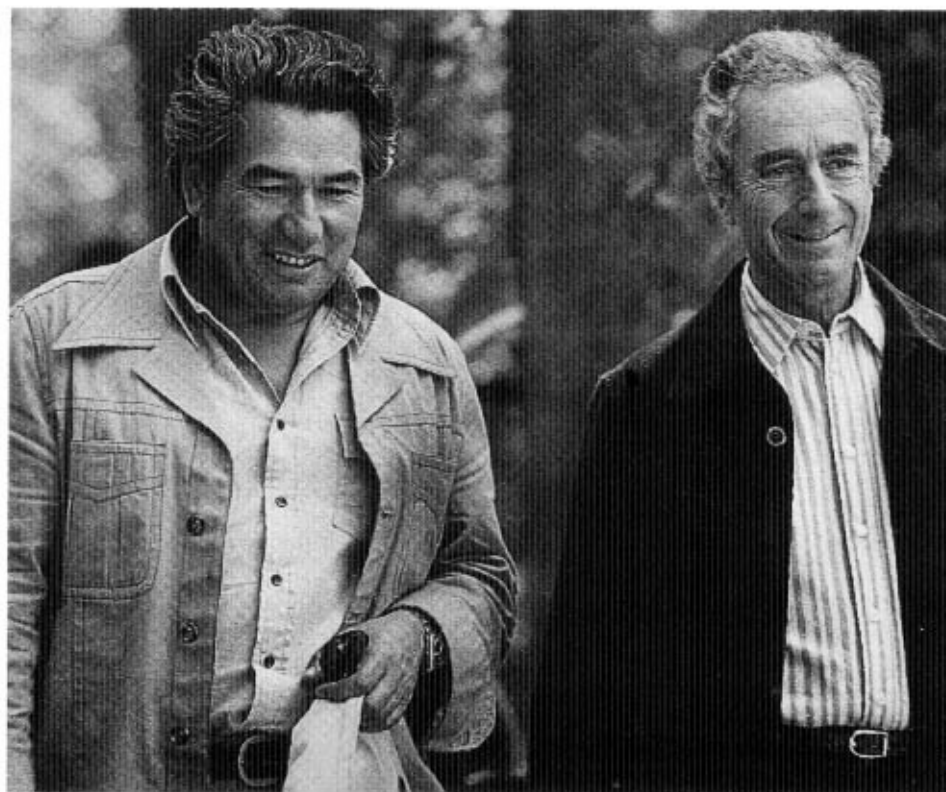
Среди земляков





Святослав Федоров и Чингиз Айтматов

Чингиз Айтматов и Микеланджело Антониони





Генеральный директор «Молодой гвардии» Валентин Юркин
и Чингиз Айтматов

С издательством «Молодая гвардия» у Чингиза Айтматова
была настоящая дружба





Чингиз Айтматов
и автор книги
Осмонакун Ибраимов



Раздумье



Мария Айтматова, жена писателя

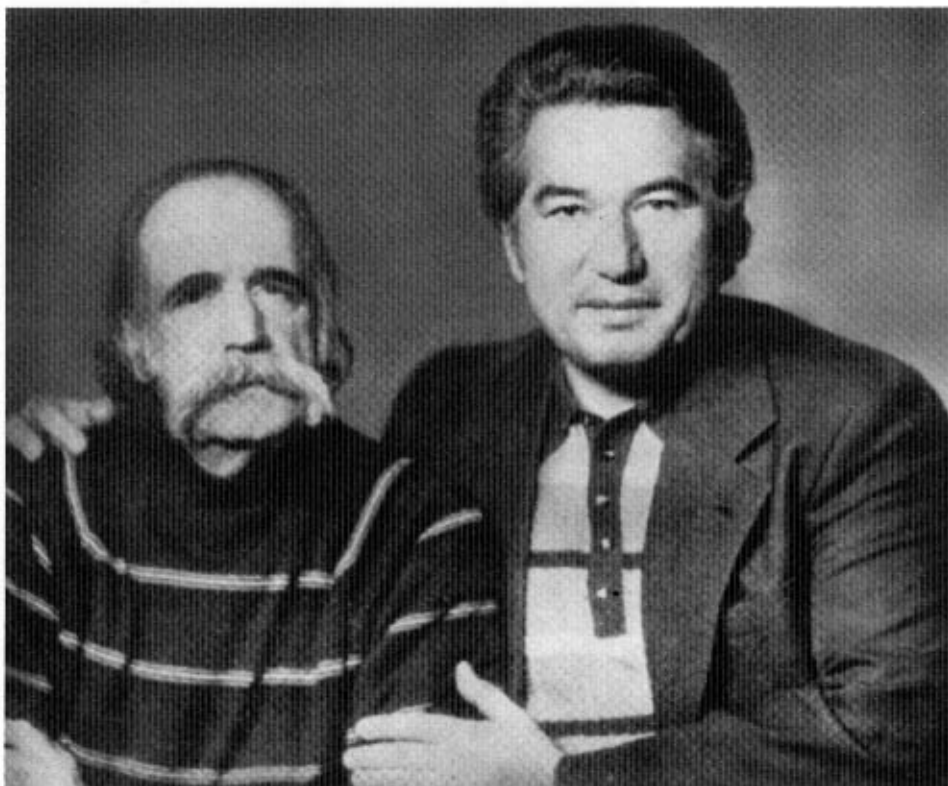
В саду дома в Бишкеке





Чингиз Айтматов с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и Константином Симоновым

Уильям Сароян и Чингиз Айтматов





Участники
«Иссык-Кульского
форума» на берегу
Иссык-Куля.
1986 г.



Питер Устинов
и Чингиз Айтматов



Многие произведения Чингиза Айтматова экранизированы:
вверху: актриса Таттыбюбю Турсунбасва, сыгравшая в фильмах
«Материнское поле» и «Тополек мой в красной косынке»;
внизу: актриса Бакен Кыдыкеева в роли Толгонай («Материнское поле»)

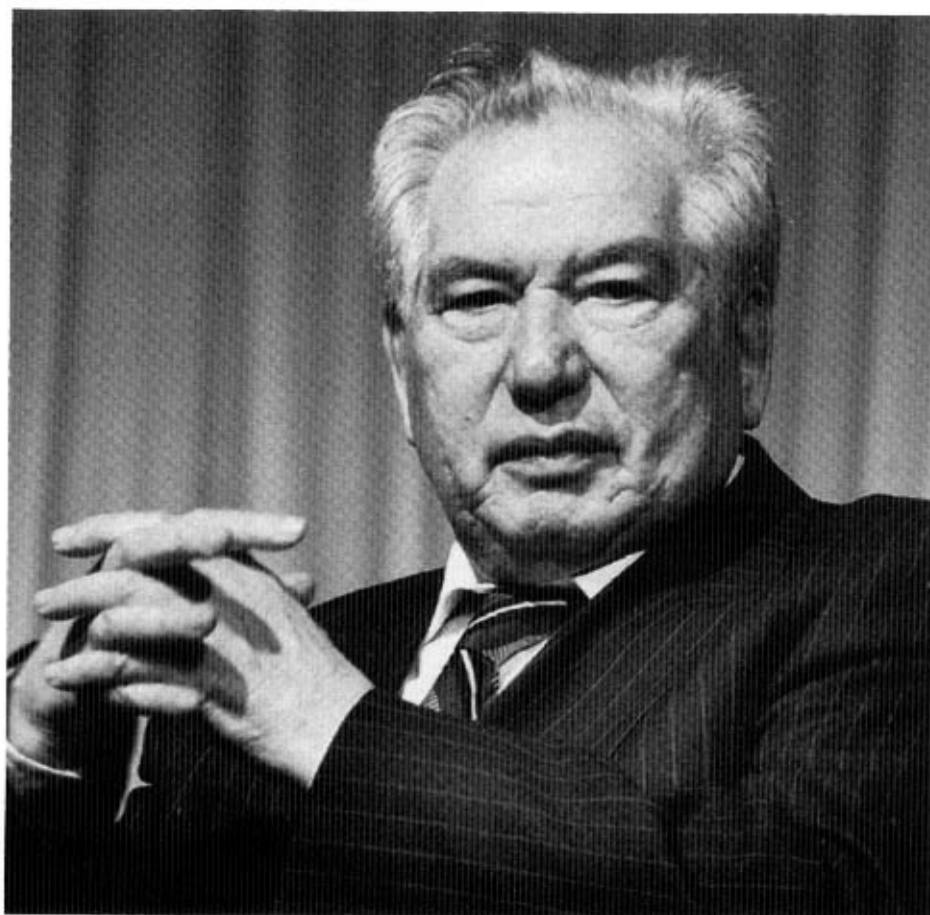




Во время съемок фильма «Белый пароход»

Чингиз Айтматов и Луи Арагон





Одна из последних фотографий писателя. 2008 г.

Золотая именная монета памяти Чингиза Айтматова



Если роман «И дольше века длится день» является вершинным произведением так называемого евроазиатского экзистенциализма, то «Плаха» обозначила новый поворот в творчестве Айтматова, став, как показало время, предтечей нового явления в литературе уже постсоветского периода. В ней происходит смешение стилей и жанров, идейных и художественных воззрений, радикальный уход от всего предшествующего и одновременно возврат к лучшим традициям и обретениям былой литературы. Роман предстаёт некой «разбитой витриной», когда из старых осколков собирается новое целое. В этом плане показательна вставная новелла о волке Ташчайнаре и волчице Акбаре, которую Григорий Бакланов сразу назвал «классикой». Может быть, к тому не стремясь, писатель создал постмодернистский текст.

Что мы имеем в виду, говоря о литературном постмодернизме 1980-х и 1990-х годов? Корни этого явления уходят в то кризисное, переходное время, когда в культуре началась переоценка многих ценностей, а ощущение взаимной связанности мира в его многочисленных проблемах и новых вызовах стало всеобщим. На соцреалистические традиции накладывалась — во многом по принципу ассоциативно-культурной связи — модернистская эстетика; сюрреалистические приёмы и стили тесно соседствовали с фольклорными мотивами, а реализм — с фантасмагорией. Притчи и мифы, почерпнутые из богатейшего киргизского устного народного творчества, мировой мифологии, претендовали запечатлеть возникшую в перестроечные 1980-е и лихие 1990-е атмосферу больших надежд и тревог, всё острее ощущаемую социальную дисгармонию. Радостное ощущение свободы, даже эстетической «вседозволенности», ощущение вселенского хаоса и в то же время попытка этот хаос каким-то образом упорядочить, — вот что такое «Плаха». Трудно было бы найти во всей советской, не говоря уж о киргизской литературе, такого вызывающего и демонстративного смешения всего и вся, как в этом романе.

Временной диапазон произведения охватывает века и зоны — от Христа и Понтия Пилата до Авдия Каллистратова и Бостона, стилистика — от грузинской притчи о погибших солдатах до упомянутой новеллы о волках Акбаре и Ташчайнаре.

Христос и Антихрист, стремление преодолеть цивилизационное и религиозно-культурное разобщение мира, поиск единого духовного корня, какого-то нового пантеизма, представление человека эманацией божественного начала, общий трагический контекст, тема Судного дня придали книге Айтматова необычный масштаб. Автор романа выступил подлинно имперским писателем, жаждущим объять необъятное,

одержимым космическими идеями и тревогами.

В романе оказались тесно сплетены художественное и публицистическое начала. Особенно впечатляют поистине эпические описания жизни бесконечных казахских саванн.

Слова «нескончаемый», «незапамятный», «неутомимый», «круговорот», «извечный», «великий», «потоп» звучат чуть ли не как рефрен. «...Люди охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. В том утраченном мире, в далёкой Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь — в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времён в саванных степях, с вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через лёгкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделённые способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот, когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье, и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матёрые резчики — то звери, которые бросались из засады на загрибок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с ещё большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, — одно звено жестокого бытия — выкладывались в беге, как предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог мог остановить и тех, и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование — в беге-

борьбе — те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спастись бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех опасностей, — там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, что сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...»^[39]

Таков теперь был айтматовский стиль, в чём-то напоминавший стиль Фолкнера периода «Шума и ярости». Таким предстал у писателя мир, который он увидел текучим и неостановимым, эклектически-многослойным, кричаще разнообразным и противоречивым, но всё же единым в своей гуманистической сути. Необычен и внутренний ритм романа, — то созерцательно-философский, то вихреобразный, то нежно-лирический, в духе раннего Айтматова. И лежит на этом мире печать обречённости, фатализма, вечной круговерти, хаоса и безостановочного движения.

Но, может быть, именно в этом и состоит полнота, красота жизни? По художественной логике «Плахи» получается, что нет. Автору-творцу хотелось бы гармонии и некоего вечного жизнеутверждающего порядка, ясности гуманистического смысла. Так ведь нет его. Отсюда и вселенская грусть, трагизм мироощущения. А в последнем, предсмертном романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» он только усилился. То были словно бы поминки по утраченным иллюзиям и разбитым надеждам, некий прустовский поиск утраченного времени. Но об этом дальше.

СКОРЕЕ РУССКИЙ, ЧЕМ КИРГИЗ?

О билингвизме Айтматова

Кентавр, мыслящий Сфинкс, писатель-билингв, король слова, художник с двойным мышлением, человекоконь... Всё это — об Айтматове. Русский критик Аннинский одну свою статью об Айтматове так и назвал: «Скачки Кентавра».

Так сложился уникальный образ киргизского писателя, художника сугубо национального, но начавшего свой творческий путь на русском языке («Газетчик Дзюйо», 1952 год), затем перешедшего на киргизский, а после повести «Прощай, Гульсары!» (1967 год) почти полностью вернувшегося к русскому. Таким образом, Чингиз Айтматов в равной степени принадлежит и киргизской литературе с её относительно непродолжительной историей становления и развития, и литературе русской с её богатейшими многовековыми традициями, накопленным художественно-эстетическим опытом, богатой стилиевой палитрой.

Подобный «кентавризм» писательского дара был в своём роде предопределён самой судьбой, Айтматов с самого детства постоянно пребывал на стыке культур и языков. На русском заговорил ещё в младенчестве, часть школьных лет прошла, как мы помним, в Москве.

А потом та же самая же судьба забросила его в самую настоящую киргизскую глубинку, где звучала по-настоящему народная речь. И в эти же годы он приобщился к «Манасу».

Написанные изначально на киргизском повести автор потом либо сам, либо в сотрудничестве с опытными московскими переводчиками по прошествии времени переложил на русский, но настоящий его «русский период» начался с «Прощай, Гульсары!». Впоследствии он лишь несколько раз переходил на родной киргизский — как автор небольших рассказов и отдельных статей.

Трудно переоценить огромный личный вклад автора «Джамили» в дело популяризации русского языка не только в Киргизстане, но и на всём пространстве многонационального Советского Союза. То, что он писал на русском, достиг такого уровня мастерства и широчайшего мирового признания, уже само по себе стало как бы зовом в пользу изучения этого языка. И зов этот был услышан — киргизы в массовом порядке переходили

на русский не только в общении, но и при чтении Пушкина, Толстого, Горького и произведений западной литературы. Вырос общий уровень образованности, культурные процессы приобрели большую динамику.

Но любая медаль имеет две стороны. Оказавшись в 1950—1970-е годы в неравных конкурентных условиях, язык Токтогула и Арстанбека, Сыдыкбекова и Осмонова впоследствии волей-неволей отодвинулся в глубокую тень. Тотальная русификация порождала сомнения в будущем языка, национальной культуры.

Иное дело, что в ходе борьбы с насильственной русификацией часто возникают крайности противоположного толка, порождающие центробежные тенденции, создающие питательную почву для местничества, и, называя вещи своими именами, национализма. Можно сказать, что именно эти сложные процессы, которые обычно называют полифуркацией, и подготовили определённую идейно-психологическую почву для суверенизации советских республик, распада СССР в 1991 году.

Важно понимать, что именно двуязычие (киргизско-русское) и культурная открытость — это тот путь, что завещал нам Айтматов. Это уже наша история, наша историческая судьба. Это та дорога, которая привела нас к сегодняшнему дню. К тому самому периоду, который считается периодом нашего национального возрождения, нашего культурно-духовного ренессанса.

Русский язык Чингиза Айтматова — большая, особая тема. Киргизский язык, впитанный с молоком матери, был у него абсолютным, стиль — свежим, точным и выверенным. Но и русский его гибок, сочен, колоритен. И следует признать, что именно он не только принёс ему всемирную известность, но и способствовал творческому становлению. Если бы не русский, неизвестно, как сложилась бы судьба писателя.

Как русский язык выручил его ещё в детстве, в пятилетнем возрасте, позволив заработать первый «гонорар», писатель неизменно рассказывал с чувством гордости и удовлетворения. Вот как это было. В ауле пал колхозный конь, и для выяснения прибыл ветеринар из районного центра. Но вот беда, он ни слова не говорил по-киргизски, а местные — по-русски. На выручку призвали маленького Чингиза.

«Я застеснялся, испугался, вырвался и убежал к бабушке в юрту. За мной вся гурьба друзей, снедаемая любопытством. Через некоторое время снова приходит тот человек, жалуется на меня. Бабушка всегда была ласкова, а в этот раз строго нахмурилась.

— Ты почему не хочешь разговаривать с приезжим, тебя ведь просят большие люди, разве ты не знаешь русского языка?

Я молчал. За юртой притаились ребята, ожидая, что будет.

— Ты что, стыдишься говорить по-русски, или ты стыдишься своего языка? Все языки богом даны, пошли. — Она взяла меня за руку и повела. Ребята снова за нами.

В юрте, где в честь гостя уже варилась свежая баранина, было полно народу. Пили кумыс. Приезжий ветеринар сидел вместе с аксакалами. Он поманил меня, улыбаясь:

— Заходи, мальчик, иди сюда. Как тебя звать?

Я тихо пробормотал. Он погладил меня:

— Спроси у них, почему этот жеребец погиб, — и достал бумагу для записи.

Все стихли в ожидании, а я замкнулся и никак не могу выдать слова. Бабушка сидела сконфуженная. Тогда меня взял к себе на колени старик, наш родственник. Он прижал меня к себе и сказал на ухо доверительно и очень серьёзно:

— Этот человек знает твоего отца. Что же он скажет ему о нас, скажет, каким плохим растёт у киргизов его сын! — И потом громко объявил: — Сейчас он будет говорить. Скажи нашему гостю, что это место называется Уу-Саз...

— Дядя, — робко начал я. — Это место называется Уу-Саз, ядовитый луг, — и потом осмелел, видя, как радовались бабушка и этот приезжий человек, и все, кто был в юрте. И на всю жизнь запомнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на обоих языках. Жеребец, оказывается, отравился ядовитой травой. На вопрос, почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщики объяснили, что местные лошади не трогают эту траву, они знают, что она несъедобная. Так я всё перевёл.

Приезжий похвалил меня, аксакалы дали целый кусок варёного мяса, горячего, душистого, я выскочил из юрты с торжествующим видом»^[40].

Да, русский язык сделался для Айтматова-писателя мостом в большой мир, тут спора нет и быть не может. Но самое удивительное в его творческой натуре то, что изъясняясь на русском, он в то же время оставался художником сугубо национальным. Это очень редкое явление даже в мировой литературе. Одинаковая принадлежность Айтматова к русской и киргизской культуре только подчёркивает уникальность его таланта и ещё раз напоминает нам, что он своим творческим возвышением и даже уходом из этого мира целиком был связан с супердержавой по имени Советский Союз.

Перечитывая произведения Айтматова, нетрудно убедиться, как сильно повлияли на него русские просторы от Охотского моря до Финского

залива, от рыбаков Дальнего Востока до космонавтов из подмосковного Звёздного городка. Поэтому таким естественным выглядело появление в книгах писателя русских людей, особенно русских интеллигентов. Да и не только русских. Космический монах Филофей, мистер Борк, Крыльцов, железная дорога, океанские волны, космодром, кони и верблюды, степи, горы, дальневосточные рыбаки, тавро Кассандры, белоснежные ледники и Иссык-Куль — вот узнаваемые символы айтматовского мира, его смысловые коды и художественная семиотика.

Знание языков всегда способствовало динамизации интеллектуальной жизни, углублению диалога культур, приводило к интенсивному обновлению национального культурного ландшафта. Иноязычное слово, ставшее словом родным, — дополнительный понятийный инструмент для выражения мысли, ресурс, обильно подпитывающий человеческий интеллект, а также поле для альтернативного выбора. Поэтому не будет преувеличением сказать, что языки для того, кто на них изъясняется, точно надёжное снаряжение для скалолаза. Ведь не для того вставляют в текст латынь (например, пословицу), чтобы продемонстрировать свою образованность. Просто таким образом мысль доводится до полноты. Ведь именно в словах она застывает, как в скульптуре схватывается стремительное движение тела.

Иностранный язык (или языки) изнутри обогащает оригинальную литературу и национальное образное мышление. Почти все наиболее внимательные исследователи Пушкина отметили, что знание языка Беранже и трубадуров весьма продуктивно сказалось на его творчестве. Можно говорить о том же на примере Тургенева, для которого французский был почти родным; стоит вспомнить и Тютчева, в совершенстве сочинявшего стихи не только на русском, но и на немецком; Лермонтова, Толстого. Уникален пример Набокова — мастера сразу двух литератур. Поляк Джозеф Конрад сделался классиком английской литературы XX века, Садриддина Айни принадлежит равно таджикской и узбекской литературе, ну и, наконец, Чингиз Айтматов — писатель киргизский и русский.

Много сказано о феномене так называемых младописьменных литератур народов бывшего Союза, которые примерно за одну человеческую жизнь прошли путь от азов письменности до вершин мировой литературы. Но недостаточно пока исследовано, как именно национальное слово наполнялось новым смыслом и стремительно обогащалось оттенками, ассоциативными связями, «заряжаясь» в процессе тесного контакта и взаимопроникновения с другими языками. Тут речь не

только о роли русского языка, действительно ставшего мостом между народами и культурами в бывшем Союзе, но и о самом русском языке и литературе, испытавших огромное внутреннее напряжение и входивших в фазу так называемой «большой парадигмы».

Ныне мы живём в эпоху, когда многие вещи и ценности подвергаются жесточайшему испытанию. Это эпоха-тест. Для литературы и языка в том числе. Но даже в этих условиях киргизы сохраняют (по крайней мере, всячески пытаются сохранить) свой второй, русский язык. А жизнь предъявляет всё новые и новые требования. В наш обиход и языковой быт упорно проникают другие языки — языки бизнеса, информации, науки. Вот и приходится обогащать киргизский, укрепляя его функционально и культурно. Вопрос это крайне чувствительный и политически, и духовно.

Словом, важнейшая задача заключается в том, чтобы, не впадая в языковой провинциализм, сберечь освоенные культурные пространства и не дать жизни родного языка оскудеть. Это айтматовский нам завет.

Вместе с тем это поле надо по возможности оберегать от вторжения политики. Язык может пасть жертвой внешних обстоятельств, став инструментом политического давления. Тогда ему будут грозить распад и деградация, о чём не раз предупреждал тот же Айтматов.

Но пока есть твёрдая надежда, что этого никогда не произойдёт и никто этого не допустит.

ЕГО ЖЕНЩИНЫ

Айтматов в жизни всегда казался человеком очень респектабельным, даже несколько величественным, сдержанным на проявления чувств. Отличался плотным телосложением и впечатляющей внешностью, всегда был при галстуке, в безупречно выглаженной рубашке. Выделялся даже в очень большой толпе: рослый, с крупными чертами лица, чувственными губами и большими умными глазами. У него были прекрасные и крепкие зубы, которые сохранились вплоть до его кончины. Когда с годами он поседел, лицо его как-то посветлело. От него веяло удивительной человеческой аурой, я не мог отделаться от ощущения сходства с известным портретом позднего Тургенева времён Буживаля и Полины Виардо, когда он сидел облокотившись, в кресле, в своей привычной задумчивости.

За безупречными манерами, сдержанностью и внешним величием скрывалась, однако, добрая, мягкая натура, чем многие пользовались.

Но натура была страстная, о чём как раз мало кто догадывался. До времени Чингиз Торекулович воздерживался от рассказов о сердечных привязанностях, о женщинах, с которыми судьба его столкнула. И только в начале 2000-х, когда уже не было в живых ни Бибисары Бейшеналиевой, его легендарной музы, ни первой жены Керез Шамшибаевой, ни Таттыбюбю Турсунбаевой, немного приподнял завесу над своей частной жизнью в диалогах с известным казахским поэтом и публицистом Мухтаром Шахановым.

Тогда-то с особенной пронзительностью и стало ясно, что мерой человеческой состоятельности Чингиз Торекулович считал прежде всего способность любить. Это понятие имело для него определённо сакральный смысл, и в любви он так и остался подростком, юношей с благородными помыслами и чистым сердцем. Или, скажем, романтиком, человеком тургеневского склада души. «Я тысячу раз благодарен судьбе за то, что она подарила встречи с женщинами, ставшими для меня музами в самые плодотворные годы, позволившими мне пережить звёздные часы счастья», — вспоминал он.

Хотя сам Чингиз Торекулович не оставил воспоминаний о первых своих любовных привязанностях, можно с большой долей вероятности предположить, что вымышленная история о Мырзагюль-бийкеч,

подарившей возлюбленному вышитый платочек с инициалами, имеет биографическую основу. О том, что в молодости он был достаточно влюбчивой натурой, видно из собственных признаний писателя: «Ив моей жизни были незабываемые часы, которые, оставшись лишь в памяти, тем не менее по сей день щемящим чувством отзываются в душе. Скрывать нечего, в студенческие годы на вечеринках, танцплощадках я знакомился со многими девушками. Бессонными ночами писал им письма, мучился, подбирая самые проникновенные слова признания, получал в ответ пухлые конверты. Много мне было подарено ярких платочков с вензелями, любовно вышитыми разноцветными мулине. Но все эти чувства так же быстро угасали, как и вспыхивали. Это были мгновения, напоминающие порхание бабочки с цветка на цветок. Они не оставляли следов в душе».

А вот «настоящая любовь — дело мучительное», — добавлял он. И за этими словами тоже стоял опыт прожитой жизни. Такой не преходящей привязанностью, имевшей очень болезненные последствия для его юной, ранимой и восприимчивой души стала близость к молодой женщине, чьим именем — Джамиля, — он одарил героиню своей знаменитой повести.

Интересно, что Чингиз Торекулович в своих достаточно откровенных беседах с Мухтаром Шахановым об этом незабываемом эпизоде молодости умолчал, лишь вскользь обронив имя. Хотя то был восторг юности, яркая вспышка света, подъём чувств, нахлынувших со всех сторон, — всё то, что разбудило в нём поэта. Понять можно. Джамиля была женой родственника, находящегося на фронте. К тому же, была ли то и впрямь чувственная, плотская любовь, или почти детская влюблённость в женщину, в которой подросток видел старшую сестру, — кто ответит на такой вопрос? Да и так ли уж это важно? Главное, что та полузабытая романтическая история породила мировой шедевр — пасторальную серенаду в духе «Сна в летнюю ночь» Мендельсона, вдохновенного одноимённой пьесой Шекспира.

Существует легенда, как молодой Айтматов признавался в любви будущей своей супруге. Дело случилось в библиотеке, в студенческие годы, когда Чингиза никто не знал, и он, рядовой студент, готовился стать зоотехником, а она — врачом-терапевтом. Кажется, она этому случайному знакомству особого значения не придавала, а вот он почувствовал в девушке с красивым открытым, добрым лицом что-то близкое, родное.

Увидев её в другой раз, там же, в библиотеке, Чингиз осторожно подошёл к ней и сказал:

«Что читаешь, Керез, да так внимательно?»

Она ему:

«Ну, готовлюсь к экзаменам...»

Несколько осмелев, Чингиз продолжил:

«А можно мне присесть рядышком и...»

Керез равнодушно кивнула: садись, мол, где хочешь, тем более что он уже придвинул стул.

«Керез, как смотришь, если книгу вместе читать...»

«Это как же...»

И тут последовало признание:

«Да, читать вместе. Я давно хотел тебе сказать, давай Книгу жизни читать с тобой вместе и всегда...»

О дальнейших подробностях того разговора в читальном зале история умалчивает, но известно, что вскоре они поженились.

Они счастливо, в мире и согласии прожили 20 лет, и за это время в жизни Чингиза произошли невероятные вещи: из никому неведомого студента-зоотехника он стал звездой первой величины, завелись и деньги, и достаток в доме, друзей появилось огромное количество. И женщин тоже.

Но навсегда сохранилось чувство вины перед Керез за то, что он, в самом зените славы, всё-таки ушёл от неё к другой. Всё та же легенда гласит, что перед уходом, оставив ей дом, он всячески просил у жены прощения, даже встал на колени.

Айтматов долго искал свою прекрасную Беатриче, в которую влюбился подростком ещё в военные годы. И нашёл. Сначала её звали Бибисарой Бейшеналиевой, и это была киргизская балерина. Потом Марией Айтматовой, на руках которой он ушёл в мир иной. Каждая была вылитой Джамилей в молодые годы — Джамилей во плоти, киргизской мадонной, воспетой писателем в его книгах.

Нетрудно заметить, что айтматовские женщины сходны и типом, и обликом. Все они чем-то напоминают знаменитую «Дочь Советской Киргизии» Чуйкова, — воплощение киргизской женской красоты. И Джамия, и Толгонай, и Алтынай, и Зарипа, и даже Алдана из последнего романа «Когда падают горы» при всех различиях в судьбе и характерах внешне очень напоминают друг друга.

Вспоминаю, как в 1985 году я познакомился с его супругой Марией Урматовной, последней музой писателя, поймав себя на мысли, что где-то её уже видел, хотя на самом деле этого никак не могло быть. И лишь позднее сообразил, что она — истинная Джамия.

У Чингиза Торекуловича был короткий искромётный роман со знаменитой красавицей — актрисой кино и театра Таттыбюбю Турсунбаевой. Об этой истории известно немного, сам писатель называет

её имя лишь однажды, всё в тех же разговорах с Шахановым: «Что же касается Таттыбюбю, то в своё время она занимала в моей душе почётное место. Она была незаурядной личностью, рождённой обогатить театральное киргизское искусство»^[41]. Без сомнения, Айтматов очень высоко ценил её талант актрисы, восхищался поистине неземной красотой, но отношения между ними всё-таки не могли перерасти в настоящую любовь. Потому что это всё случилось почти сразу после внезапной кончины Бибисары. Это был период, когда Айтматов, по собственному признанию, «опустевшее место в душе после смерти Бибисары ничем не мог заполнить». Даже красавица и прекрасная женщина по имени Таттыбюбю не могла его занять. А у неё после романа с Чингизом жизнь пошла под откос, хотя за ней буквально охотились местные знаменитости, сановные чиновники. Она пристрастилась к алкоголю, заболела и очень рано скончалась.

После кончины Бибисары в сердце образовалась пустота, и долго ещё писатель оставался душевно одиноким. Он метался, не зная, куда себя деть и как найти хоть какое-то успокоение. Временами Чингиз становился похож на Каранара, верблюда-самца, привязанного к столбу, несчастного и несвободного. В книге диалогов Айтматова с Шахановым есть небольшой этюд-воспоминание, как после кончины Бибисары, не зная, как быть и как жить без неё, он оказался в составе делегации советских деятелей культуры на Сицилии, и то и дело, казалось бы, беспричинно впадал в отчаяние и даже не мог остановить слёз.

Свои переживания, особенно любовные, Айтматов наиболее выразительно и мастерски воплощал в образах из мира животных. Например, в образе того же коня Гульсары, потом в виде верблюда Каранара и, наконец, в форме горьких переживаний старого снежного барса по кличке Жаабарс.

Психологический надлом, испытанный Айтматовым после потери любимой, остро отразился в романе «И больше века длится день»: «Разъярённый верблюд ещё пытался вернуться к разлучённым маткам, хотел даже, закидывая голову набок, достать зубами хозяина. Но Едигей знал своё дело. И, несмотря на рыки и злобные вопли, на раздражённое несмолкаемое вытьё Каранара, Едигей упорно гнал его по снежной степи и всё пытался вразумить.

— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замолчи! Всё равно назад не вернёшься. Дурная ты голова! Ты же взбесился, это верно, ещё как верно! Взбесился, ведёшь себя как последний сумасброд! А не то зачем припёрся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберёмся до дома

— и конец твоим куролесиям по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался!

Гоозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Каранара от его ак-мойнакских верблюдиц. И это было вообще-то несправедливо! Был бы он смирным животным — какой вопрос!

Через некоторое время смирился Буранный Каранар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода — бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозеков как заведённый. И Едигей успокоился, уселся поудобней между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к боранлинским местам».

В этих строках легко можно угадать те чувства, которые испытывал Айтматов.

К счастью, именно в это трудное для себя время он встретил свою последнюю музу — Мариям. «В такую тяжёлую пору мне выпала встреча с Мариям. Со временем душевные мучения постепенно улеглись, жизнь наладилась. У нас с Мариям две надежды, две опоры — дочь Ширин и сын Эльдар. Мы с женой мечтаем, чтобы наши дети, какую бы профессию они ни избрали, выросли достойными людьми».

БИБИСАРА И ЧИНГИЗ:

Слияние двух звёзд

Как отмечено в предыдущей главе, история любви Чингиза Айтматова к Бибисаре Бейшеналиевой — история удивительная и трагичная. Кое-кому может показаться, что не стоило вторгаться в столь чувствительную сферу отношений двух выдающихся личностей. Мы бы с этим категорически не согласились хотя бы потому, что с данной историей связана существенная часть биографии обоих, особенно — Чингиза Торекуловича. Кроме того, любовь — это благословение Бога, в ней, как говорил Эрих Фромм, ответ на главные проблемы человеческой жизни.

Начнём с того, какой была в жизни Бибисара, эта удивительная женщина, балерина, ставшая одной из знаковых женщин Киргизстана XX века. Можно вспомнить её яркую биографию, но ограничимся лишь тем, какой она была в жизни и какие личные драмы ей довелось пережить.

Она была, безусловно, очень красивой женщиной. Но в её красоте присутствовал какой-то необычный шарм — воздушность и некое величие простоты. Люди обожали смотреть, как она танцует, хотя ради справедливости следовало бы заметить, что её фуэте и па были всё-таки далеки от балетного искусства Галины Улановой или Маргот Фонтейн. Но её лично и её танец любили все за особую женственность линий, отточенность рисунка, а также внутреннюю грацию, магнетизм движений.

«Рисунок танца блещет новизной,

Воздушный лёгкий след неуловим», — писал о ней великий киргизский поэт Суйунбай Эралиев.

Об удивительной и в то же время трагической истории любви Чингиза Айтматова к Бибисаре Бейшеналиевой, скончавшейся от неизлечимой болезни в 1973 году, о том, какую незаживающую рану в душе оставила эта история, писатель сам подробно рассказал в книге диалогов с Мухтаром Шахановым «Плач охотника над пропастью».

«Каждому отпущена своя судьба — бесконечная, сложная тайна, — размышлял писатель. — На своём жизненном пути каждый встречается с женщинами или мужчинами, предназначенными ему судьбой. Встретившись, они начинают совместный путь в поисках счастья... И я в этом не исключение... Но была в моей жизни и счастливая незабываемая

встреча с Любовью, захватившей меня всего! Мы не искали друг друга. Всё произошло как бы само собой. И эта неожиданная встреча стала для меня самым дорогим даром судьбы. Женщина, осветившая мою жизнь, — звезда киргизского искусства, знаменитая балерина Бибисара Бейшеналиева. Этот дорогой образ до сих пор витает в моих сновидениях, тревожит и возвышает душу, возвращает в прошлое...

Конец 50-х годов. Я закончил Литинститут в Москве, произведения мои стали публиковаться в центральной печати, обо мне заговорили. В это время была сформирована делегация для оказания шефской помощи киргизским ребятам, служившим на Балтийском флоте. Меня пригласил бывший тогда первым секретарём Фрунзенского горкома партии Турдакун Усубалиев и предложил полететь с делегацией в Ленинград. Труппа Киргизского Театра оперы и балета пребывала в те дни в Ленинграде, где на студии “Ленфильм” шли съёмки балетного фильма “Чолпон”. Там я и встретился с исполнительницей главной партии Бюбюсарой Бейшеналиевой. Потом я понял — то было предопределено судьбой.

Когда я на катере в сопровождении двух-трёх матросов подплыл к крейсеру “Аврора”, на палубе стояла наша делегация. Среди её членов была и светлоликая, с радостно сияющими глазами Бибисара. Её стройный стан и тёмные волосы нежно ласкал лёгкий морской бриз. Она с улыбкой помахала нам рукой. Раньше мы слышали друг о друге, но лично знакомы не были. Как-то легко и быстро мы сблизились, почувствовали удивительную взаимную симпатию. Это невозможно передать словами. Наверное, ты не поверишь, если я скажу, что чувства наши вспыхнули мгновенно и запылали, как огонь. Мы были поражены тем, что не встретились раньше. Люди вокруг, пение птиц, шелест листвы, шорох морских волн — всё воспринималось вокруг совершенно по-иному. Мир вокруг меня стал неузнаваем — ярче и краше...

Какие счастливые часы мы провели в бесконечных беседах, мгновения или, может быть, века, без усталости гуляя вдоль берегов Невы в ленинградские белые ночи! Вся прежняя жизнь словно отошла на второй план. В мире были только я и она. Она и я... Промелькнуло несколько дней, делегация уехала в Киргизстан. Я страдал, не находя ни сил, ни желания оставлять половину своего сердца на берегах Невы. В конце концов, сославшись на то, что по делам мне нужно заехать в Москву, я остался в Ленинграде. Через 2-3 дня направился в столицу. Следом за мной примчалась и Бибисара. Лишь один день и одну ночь мы провели вдвоём в гостинице “Москва”. Но это были незабываемые часы духовного общения. Мы прощались вновь и вновь и не могли расстаться. Наконец я проводил

Бюбюсару на электричке до самого Ленинграда. Она упорно порывалась проводить меня обратно до Москвы, но я насилу отговорил её.

С этого времени и до самой смерти Бибисары, на протяжении четырнадцати лет, огонь в моём сердце ни на минуту не угасал. Конечно, не утихали все эти годы пересуды и сплетни, доставляя нам много неприятностей...

Бибисара получила образование в Ленинграде, хорошо разбиралась в театре, кино, литературе. Её суждения и оценки искусства были оригинальны и глубоки. Трудно передать словами то влияние, которое оказала эта неповторимо талантливая и изумительно красивая женщина на всю мою жизнь и творчество.

У кого-то может возникнуть вопрос, почему же эти двое, любившие друг друга, как в сказках “Тысяча и одна ночь”, не соединили свои судьбы? Когда я заводил речь об этом, Бибисара переводила разговор на другую тему или просила не торопиться. Позднее мы получили новые квартиры в соседних подъездах дома на Дзержинском бульваре. Вскоре, когда мы были одни, Бибисара произнесла с печальной улыбкой:

— Ачинов (она придумала это обращение из начальных букв моей фамилии и имени), я понимаю, что ты хочешь сказать. Говорят, по-настоящему любящие друг друга люди не соединяются. — Она немного помолчала. — Может, так и должно быть. Обыденность семейных будней убьёт любое великое чувство. Зачем нам свою любовь связывать путами брака?

Позднее я понял, что отказ Бибисары был её попыткой уберечь меня (о себе она и не думала) от жестокой расправы партийных “товарищей”, от травли коллег по литературе»^[42].

К сказанному можно добавить, что Чингиз Торекулович и после тридцати в любви был настоящим пылким юношей, тем юным Султанмуратом из «Ранних журавлей», сжимающим у сердца платочек с вышивкой от Мырзагюль-бийкеч и сгорающим от настоящей бури чувств. Это чувство к Бибисаре возвышалось до небес, одновременно сжигая изнутри, причиняя только ему ведомое страдание, потому что художнику всё было мало, он желал всё большего и большего, его натура жаждала полного и безусловного слияния и единения. Любовь расширяла его творческий мир, как вселенная расширялась со скоростью света после «большого взрыва». Можно понять, почему Сейит в той же «Джамиле» начал рисовать, бредить по каким-то неведомым чувствам и желаниям из-за обуявшей его любви.

В этой истории отношений Чингиза и Бибисары существует и некая

боковая линия. Ещё до Айтматова великая артистка пережила другую, не менее легендарную историю, которая хорошо известна в стране и проливает неожиданный свет на личность этой выдающейся женщины.

«L'amour a ses plaisirs aussi bien que ses peines» — у любви, как говорят французы, большие знатоки этого вопроса, есть свои удовольствия, но и свои напасти. Поистине драматическая любовь этой удивительной женщины и прекрасного врача, совершенно неординарного человека, своего рода киргизского Меджнуна — Муртазы Асанова, о чём целую книгу написал его коллега и друг Тазабек Касымбеков, вполне подтверждает правоту этой галльской народной мудрости.

Рядовой студент Киргизского госмединститута конца 1950-х, Муртаза влюбился в балерину тривиально — оказался на балете, в котором она танцевала, — и в первый же миг, что называется, потерял разум. На что он мог рассчитывать? Ведь таких, как он, были десятки, сотни, тысячи. И всё-таки Муртаза оказался тем редким исключением, которое и позволяет нам назвать его Меджнуном страсти, человеком, безоглядно бросившим себя в полыхающий огонь рокового для него чувства, сжигавшим себя, глубоко при этом страдая и одновременно наслаждаясь этим горением, не думая о последствиях. Отныне он не пропускал ни одного представления с участием Бибисары, жадно впитывая каждое её движение, всматриваясь в каждую черту её лица, тела, восхищаясь мельчайшими нюансами её артистического мастерства. Тогда-то он с трепетом в душе понял, что по-настоящему болен, болен неизлечимой болезнью — любовью.

Мы сказали, что Муртаза был обычным, ничем особо не выделявшимся на общем фоне студентом. Всё же это не совсем так, скорее наоборот. У него, настоящего киргизского красавца, были свои тайные воздыхательницы — и в институте, и за его стенами. Вообще он был рождён, как отмечает автор книги, покорителем сердец, Дон-Жуаном, а со специальностью врача карьеру он сделал бы, не прилагая к тому особых усилий. Учился хорошо, был абсолютно самостоятельным молодым человеком, имел прекрасное чувство юмора, занимался спортом, но любовь к Бибисаре круто переломила его жизнь. Как говорят те же французы, «Полюбишь женщину — полюбишь и её собаку».

Это и произошло с Муртазой — он вдруг решил стать артистом балета. И, недолго думая, поступил в балетную студию при оперном театре, бросив любимый мединститут. И стал, о сила любви, достаточно успешным танцовщиком, каждый день до седьмого пота трудясь в репетиционном зале. Конечно, у него не было тех знаний и той профессиональной выучки, той школы, что была у великого Урана Сарбагышева или замечательного

Роберта Уразгильдеева — звёзд киргизского балета, но на него всё равно не могли не обратить внимания. Приметила его, наконец, и Бейшеналиева, в то время бесспорная примадонна киргизского балета.

Тогда они и познакомились. И, наконец, наступил тот вожделенный для Муртазы день, когда он смог открыто признаться в любви к балерине. Как сообщает автор книги, особого впечатления это на Бибисару не произвело. В то время она уже успела пережить первую свою семейную драму — расставание с талантливым композитором Акматом Аманбаевым, за которого студентка Ленинградского хореографического училища им. Вагановой вышла в восемнадцатилетнем возрасте.

Обжёгшись однажды, Бибисара опасалась завязывать сколько-нибудь серьёзные отношения, тем более что к этому времени она уже сделалась звездой киргизской сцены, гордостью страны, депутатом, лауреатом. Жизнь её теперь протекала на виду, она уже не принадлежала себе, и в этом заключалось главное препятствие. Словом, она сразу отказала Муртазе. К тому же по-настоящему сильной привязанности не возникло — мешали традиции, опасения, возможные кривотолки, а они не могли не возникнуть вокруг имени примадонны, с которой почитал за честь станцевать сам Никита Хрущев в Кремле, за которой ухаживал Исхак Раззаков, затем — Турдакун Усубалиев, долго добивался её согласия выйти замуж Салмоорбек Табышалиев, ректор единственного тогда университета республики. Среди поклонников балерины был Салмоорбек Акиев, известный партийный и советский деятель, дипломат, а другой высокопоставленный воздыхатель как-то попросил балерину снять башмачок, и, наполнив его коньяком, залпом выпил.

В конце концов Бибисара, устав от сплетен и одинокой жизни, вышла замуж за давнего поклонника, тоже, как и Муртаза, врача, преподавателя мединститута. Новый супруг был старше её по возрасту, имел научную степень доктора медицины, словом, брак обещал стать удачным. Но, к сожалению, выяснилось, что избранник сильно пьёт, и это привело к очередному разводу. Примерно тогда Бибисара и познакомилась с Чингизом.

И тогда же, осознав с горечью тщету своих притязаний, оставив с болью в душе театр, вернулся в институт, как давно уговаривала его сделать Бибисара, и вскоре женился Муртаза Асанов.

Прошло время. К несчастью, когда слава Бейшеналиевой была в самом зените, она серьёзно заболела — у неё нашли туберкулёзную палочку. Анализы показали, что необходима операция — резекция верхней части правого лёгкого. Лечиться балерина поехала в Москву. И тут злая (а, может,

милостивая?) судьба вновь столкнула её с Муртазой, который как раз в это время стажировался во Всесоюзном научно-исследовательском институте туберкулёза, куда и положили Бибисару.

Нет нужды говорить, что он неотлучно сидел у кровати давней своей возлюбленной, принимал непосредственное участие в подготовке, а потом и в самой операции, отдавал как донор свою кровь, и она проникала в самое сердце его несбывшейся мечты.

Именно тогда Муртаза узнал о начавшемся романе Бибисары с Чингизом Айтматовым. Ревнивое чувство он, наверное, испытал, но, скорее всего, отнёсся к этому новому зигзагу судьбы с пониманием — наконец Бибисаре улыбнулось счастье. Это была действительно звёздная пара.

А Муртазе судьба однажды захотела «блеснуть улыбкою прощальной».

Дело опять происходило в Москве, в гостинице «Украина». Муртаза ужинал со своими товарищами, и вдруг в ресторане появилась небольшая группа киргизских депутатов. Среди них оказались и Бибисара Бейшеналиева с Чингизом Айтматовым. Бибисара сразу заметила Муртазу, и они очень тепло, как старые друзья, в обнимку поздоровались. От Чингиза это, естественно, не укрылось, остальные же не обратили внимания — никто из них не знал ни Муртазы, ни, тем более, истории его отношений со знаменитой балериной. В какой-то момент Муртаза и его друзья передали через официанта бутылку шампанского к столу депутатов. И вдруг зазвучала классическая музыка. То был вальс из «Лебединого озера», исполнение которого, как потом выяснилось, было тайно заказано Муртазой, — как ностальгическое приветствие Бибисаре. Оставалось только набраться смелости и пригласить балерину на танец. Что и произошло.

Это было незабываемое зрелище — и свидание с прошлым, и прощальный танец.

У этой истории есть свой грустный финал. Бибисара вновь неожиданно заболела, на сей раз неизлечимо. И теперь рядом с ней, в знаменитой Кремлёвке, была её подлинная любовь — Чингиз Айтматов. Он вспоминал: «С каких-то гастролей она вернулась больной. С диагнозом — злокачественная опухоль груди. Бибисару поместили в Кунцевскую больницу. Она страдала полтора года. Трудно обо всём этом говорить. На территорию больницы можно было попасть только по специальному пропуску. В одной палате с Бибисарой лежала с таким же диагнозом народная артистка Советского Союза Ольга Николаевна Андровская. В то же время в Кунцеве лечился от этой страшной болезни Александр Трифонович Твардовский. Это он одним из первых благословил меня на

писательской стезе, опубликовав мои ранние повести в своём журнале “Новый мир”. Всякий раз, бывая в больнице, я навещал и его. Несмотря на все старания врачей, он быстро угасал. Вскоре Твардовского не стало.

Бибисара тоже с каждым днём таяла. У неё уже не хватало сил самостоятельно подниматься с постели. Она сильно изменилась, свет её ласковых глаз становился всё глуше, слабее. Только тогда я впервые осознал, что её болезнь действительно неизлечима, и земля ушла из-под ног... И вот, когда даже малейшее движение стало приносить Бибисаре мучения, её перевезли во Фрунзе. Я не мог усидеть на работе, вновь и вновь кружил вокруг больницы, одинокий и неприкаянный. Уже смирившаяся с тем, что ей остались считанные дни, Бибисара при моём появлении слабо улыбалась, пытаясь как-то подбодрить меня. Она и в эти последние минуты оставалась моим ангелом-хранителем.

10 мая 1973 года Бибисары не стало»^[43].

Об этой великой любви написано и сказано очень много, но ей она принесла только боль и горечь — горечь несбывшейся судьбы и необрётённого счастья. Да и об Айтматове можно сказать то же самое. И я прекрасно понимаю, почему с такой потрясающей силой он изобразил в своих культовых произведениях несчастную любовь между Танабаем и Бибижан, Едигеем и Зарипой, Дюйшеном и Алтынай. И почему рыдал, как мальчик, у всех на виду, когда люди провожали великую балерину в последний путь во Фрунзенском театре оперы и балета 11 мая 1973 года.

Для Айтматова это была настоящая трагедия. Он находился на грани психического срыва, буквально заболел от одиночества и отчаяния. Может быть, то состояние души отразилось на страницах романа «И дольше века длится день», где Едигей Буранлы оплакивает уход любимой женщины: «Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брёл он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одиночестве, посреди сарозеков, он слышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая позёмку, и слышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребяташек, к которым он привязался, как не всякий отец. И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом.

— Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни! Так что же ждать от других? Нет бога, нет его!— сказал он себе отрешённо в том горьком

одинокости, среди ночных пустынных сарозеков...»

А теперь послушаем самого Чингиза Торекуловича, вспоминавшего на склоне жизни о своей великой любви.

«— Меня потрясла, — говорил собеседник писателя, — история вашей любви с Бибисарой Бейшеналиевой, описанная вами в книге “Плач охотника над пропастью”. Как вы думаете, почему безоглядно, с полной самоотдачей мы, как правило, влюбляемся только один раз в жизни?

— Видимо, наступает такой момент духовного созревания, созревания чувств. Это вершина духа, вершина самопонимания. Понимания того, что даётся жизнью. Да, это великая история любви в моей жизни. Незабываемая. И это было вершиной... Но что было, то было...»

Но интервьюер настаивал:

«— Случалось ли, что любовь вызывала какой-то резкий поворот в вашей судьбе?

— Не могу такого сказать. Ведь учтите, что та обстановка (советская — *примеч. автора статьи*) проявлениям любви не способствовала, тот режим такие душевные всплески не приветствовал. Всё укладывалось в жёсткие рамки, определённые партией. Ведь моя юность и молодость прошли в сталинские и послесталинские времена.

— Была ли у вас несчастная любовь? Боялись ли вы после неё влюбляться?

— Наверное, я это уже пережил.

— Кстати, как вы думаете, почему несчастная любовь так долго помнится?

— Это же трагедия, личная трагедия.

— А почему воспоминания о ней всплывают в памяти со сладкой болью?

— Потому что то, что грезилось, то, что приближалось, то, что уже имело своё место в сердце, вдруг разрушилось. И это оставляет особый след в сознании. Несбывшаяся мечта...»

Хотелось бы добавить, что неразделённая или несчастная любовь способна неожиданно пробудить в человеке неодолимую тягу к художественному творчеству, как у Данте, Ван Гога, Тургенева. Да и о нашем великом соотечественнике Айтматове то же можно сказать.. Но любовь способна и сломать человека, отнять у него волю к жизни, разрушить личность. Рано ушёл из жизни талантливый Ахмат Аманбаев, первый муж балерины, ушёл и второй её муж, чьё имя не хотелось бы здесь называть, ушёл безвременно и Муртаза Асанов — Меджнун, неисправимый романтик, раб любви, заложник страсти, человек в

истинном смысле слова. Безвременно ушла и Бибисара.

Любовь беспощадно обожгла их души, а её несбыточность или неразделённость невероятно сузила, опустошила само жизненное, духовное пространство, жестоко сократив дарованные небесами сроки пребывания на земле...

ГОРБАЧЁВ И «ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ФОРУМ»

Писатель по призванию и профессии, Чингиз Торекулович Айтматов всегда пребывал в то же время в гуще общественно-политической жизни Советского Союза. Пик его активности пришёлся на перестроечный период 1980-х годов. К этому времени он стал одним из видных представителей советской либеральной интеллигенции, проповедующим так называемое «новое мышление», в становлении и утверждении которого и сам сыграл весьма видную роль. Оно касалось не только сферы политики и международной безопасности в ядерно-космический век, но и широкого круга культурно-интеллектуальной и гуманитарной деятельности людей.

Это было время, когда суровые реалии холодной войны нависли, как дамоклов меч, над миром, а литература и искусство так или иначе были ангажированы политикой, скованы всевозможными идеологическими доктринами, зависимы от глобального противостояния двух политических систем. В одной из своих речей творец политики перестройки и гласности Михаил Горбачёв, первый и последний Президент СССР, говорил, что «...нужно новое мышление, нужно преодолеть образ мысли, стереотипы и догмы, унаследованные от безвозвратно ушедшего прошлого... Можно сказать, мы выстрадали новое мышление, которое призвано ликвидировать разрыв между политической практикой и общечеловеческими морально-этическими нормами»^[44].

Словом, «новое мышление» означало, прежде всего, раскрепощение живой мысли, освобождение её от устаревших идеологических догм по обе стороны «железного занавеса», прорыв в сторону общечеловеческих ценностей.

Важным событием в утверждении новой политики стало проведение международного «Иссык-Кульского форума» по инициативе Айтматова в 1986 году в городе Чолпон-Ата.

Это был один из самых впечатляющих проектов Айтматова — общественного и культурного деятеля мирового масштаба. «Новое мышление» было для него понятием далеко не умозрительным. Собственно, как писатель и гуманист, он шёл к нему всю свою сознательную творческую жизнь. Ещё легенда о манкурте прозвучала как

колокольный набат, как сигнал общей беды. Ведь манкуртизм — понятие вовсе не локальное, оно относится ко всем режимам, пытающимся манипулировать человеческим сознанием.

Чингиз Айтматов пригласил на берега благословенного Иссык-Куля самых известных деятелей культуры, науки, литературы. Среди них были: Александр Кинг, в ту пору президент Римского клуба, американский футуролог Элвин Тоффлер, Артур Миллер и Питер Устинов — крупнейшие фигуры мирового театра и кинематографа, кубинский писатель, один из зачинателей латино-американской документально-художественной прозы Лисандро Отеро, турецкий прозаик Яшар Кемаль, будущий генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, итальянский физик Аугусто Форти, один из создателей так называемого «нового романа» и нобелевский лауреат Клод Симон, эфиопский художник Афеворк Текле, индийский музыкант Нараяна Менон и некоторые другие. Чингиз Айтматов предложил назвать эту встречу по-киргизски «шерне» — «осенние беседы» с традиционным угощением и чаепитием.

Встреча на Иссык-Куле, получившая понимание и поддержку со стороны руководства СССР, превратилась в символическое событие. Она доказала, что между западным миром и странами Восточного блока диалог возможен, что людей планеты волнуют одни и те же проблемы, что в сути своей мир един, и разделяют его лишь искусственные барьеры, прежде всего опущенный Советами «железный занавес».

Как сказал, открывая «шерне» — форум мировых интеллектуалов — его инициатор, нужно «обмениваться мнениями и положить начало подобным неформальным контактам творцов слова, деятелей науки и культуры», чтобы попытаться понять направление развития планеты, утвердить право всех народов, всех нынешних и будущих поколений на достойную жизнь. «Нет второго земного шара, куда могла бы переселиться от конфликтов и притеснений часть населения земли. Такого не дано. Научиться жить на небольшой планете — вот единственная альтернатива человечества на сегодняшний день и на все грядущие времена»^[45], — говорил Айтматов.

Поскольку в 1980-е годы ветра холодной войны дули с особенной силой, и это угрожало реальным вооружённым противостоянием двух миров, то долгом интеллектуалов было не сосредоточение на том, что их разделяло, но поиск общих точек соприкосновения, предложение людям неких общеприемлемых формул и консолидирующих идей. Такого рода предложением и стала идея Айтматова «Выживание через творчество», базировавшаяся на выстраданном убеждении, что только созидательный разум, только интеллект, сотворивший современную культуру и научно-

техническую цивилизацию, способен спасти мир от сползания к новому мировому конфликту, бессмысленному идеологическому противостоянию, отвлекающему силы и средства на всё новые и новые виды вооружения и чреватому большим кровопролитием.

«Наш девиз — “Выживание через творчество” вбирает в себя многое, — отмечал тогда писатель. — Всё то, что может способствовать тому, чтобы люди смогли осмыслить, осознать себя и как личности XX века, и как люди, ответственные за всеобщее состояние мира. Я думаю, что “Иссык-Кульский форум” в определённой степени причастен к формированию такой системы мышления, к диалогу между людьми, обмену мнениями по самым актуальным вопросам современности, задевающим нашу общечеловеческую культуру, наш духовный потенциал».

По мнению Кинга, Иссык-Кульский форум — не только важное событие в общественной жизни, но и «вдохновляющая встреча» людей самых разных взглядов и мировоззрений. «Большинство участников, — отмечал он, — не только не искали, но, наоборот, старались проходить мимо того, что нас разделяет. Постоянно думали о том, что нас объединяет. А объединяет многое. И в первую очередь проблемы, стоящие перед человечеством, очень трудные и остающиеся такими, даже если будут решены вопросы ядерного разоружения. Нас объединяло общее беспокойство за судьбы человечества и готовность сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить мирное будущее нынешних и будущих поколений. Один из главных выводов, к которому мы пришли, — это необходимость перестройки мышления в наш ядерный век. Как никогда ранее, сегодняшний день диктует настоятельную потребность нового, “нестандартного мышления”. Мышление, которое не тащилось бы позади, а опережало технологические новинки, какими бы фантастическими они ни казались»^[46].

Встреча получилась действительно знаковой, своевременной, прорывной, сразу получившей мировой резонанс. Её значение признали многие мировые лидеры, в том числе Горбачёв, в то время генеральный секретарь ЦК КПСС, лидер советской державы.

Итогом «Иссык-Кульского форума» как раз и стала встреча её участников с архитектором политики перестройки и гласности в Кремле. Горбачёв назвал форум «огромным аргументом в пользу того, что даёт новое мышление».

Впоследствии он вспоминал: «В октябре 1986 года произошло событие, которому суждено было сыграть заметную роль в годы перестройки. Это — Иссык-Кульская встреча, собравшая выдающихся

деятелей культуры: Артура Миллера, Александра Кинга, Элвина Тоффлера, Питера Устинова, Омера Ливанелли, Федерико Майора, Афеворка Текле. Её инициатором и вдохновителем явился наш Айтматов. Речь шла о ядерной угрозе, экологических бедах, о дефиците нравственности, особенно в политике.

Моя встреча с участниками форума состоялась 20 октября, спустя неделю после Рейкьявика. Мы почувствовали взаимное расположение и в непринуждённой беседе за столом провели несколько часов. Я, в частности, напомнил собеседникам ленинскую мысль о “приоритетности интересов общественного развития над интересами классов”. В ракетно-ядерный век её значимость ощущается особенно остро. Мы присягаем этому принципу и хотели бы, чтобы он был понят и признан повсюду в мире»^[47].

Эта беседа, а в особенности тезис об общечеловеческих ценностях вызвали живой отклик и у нас, и за рубежом, отчасти, быть может, потому, что упомянутая встреча Горбачёва с президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике, где предполагалось найти выход из многолетней холодной войны, завершилась едва ли не провалом — как раз, как признавался сам Горбачёв, из-за дефицита «нового мышления».

А вот личная инициатива Айтматова, пригласившего деятелей культуры на мировое «шерне», стала своего рода сигналом к завершению холодной войны, прологом к масштабному сотрудничеству между Западом и Востоком, предвестием падения Берлинской стены.

Как говорилось, форум стал вершиной общественной деятельности киргизского писателя, живым воплощением духовных и гуманистических устремлений, а если говорить на современном языке, блестящей мировой рекламой горного Киргизстана, этой, как писали журналисты, «забытой республики», куда в те времена редко кто заглядывал.

Только теперь, спустя много лет, становится понятным историческое значение Иссык-Кульского форума, ключевым моментом которого стало программное выступление его инициатора. Рассказанная им притча ярко выявила те гуманитарные, философские, культурные мотивы, которыми руководствовались участники встречи.

«Две птицы разделены непроходимым снежным перевалом. Но обе поют о том, что они жаждут весны. О том, что они любят жизнь, свободу и всё то, что присуще стихии птицы. Они слышат друг друга через перевал. Но погода ухудшается и слышимость тоже ухудшается. И тогда одна из птиц отваживается на перелёт. Через бури и вьюги летит она и достигает другой стороны. И снова они вместе поют, и голоса их слажены и гармоничны. И такая необходимость была между нами, многие годы

знающими друг друга писателями, художниками, философами, общественными деятелями — теми, кто в своём творчестве и реакциях находили много общего. И мы сумели собраться вместе. И эта встреча на берегах Иссык-Куля ещё больше нас сблизила и объединила. Идея нашей встречи и свелась к девизу — “Выживание через творчество”»^[48].

Нельзя было сказать, что на форуме царила полная идиллия. С самого начала стало ясно, что, к примеру, французский писатель Клод Симон не разделяет представления о мире и литературные воззрения своего киргизского собрата. Он оказался убеждённым антикоммунистом, хотя о встрече на берегу Иссык-Куля отозвался весьма благожелательно: «Я не оратор. Свои мысли мне привычнее выражать на бумаге. Однако встречи интеллектуалов из разных стран, представителей различных видов искусств, безусловно, нужны и полезны. И я хочу выразить благодарность Чингизу Айтматову, стране, которую он представляет, за гостеприимство, за возможность встретиться и обменяться мнениями на таком уникальном форуме, как Иссык-Кульский. На подобных форумах организаторы всегда хотят чего-то от гостей и, бывает, оказывают на них давление. Нас не только хорошо приняли, но исключили даже намёк на давление»^[49].

К сожалению, «Иссык-Кульскому форуму» не суждена была долгая жизнь. Тому есть свои объективные причины. Прежде всего, после форума начался стремительно углублявшийся социально-экономический кризис всего советского общества, который в конце концов привёл к падению Берлинской стены, объединению двух Германий, утрате советского военно-политического контроля над странами Восточной Европы и роспуску Варшавского договора. Так завершилась холодная война. А следом, в 1991 году, перестал существовать СССР, на месте которого возникли 15 суверенных республик. В том числе и Киргизстан. Страна с самого начала избрала курс на демократизацию и переход к рыночной экономике.

В этих условиях айтматовский форум, имея, казалось бы, блестящие возможности и дальше действовать в качестве неправительственной международной организации, продолжения не нашёл. Слишком радикальные перемены произошли в жизни людей каждой из бывших советских республик. Теперь их больше занимало строительство нового общества, нежели проблемы «нового мышления», утратившего свою историческую актуальность.

Тем не менее «Иссык-Кульский форум» остался в памяти и твёрдо вошёл в историю. Как остроумно заметил знаменитый английский актёр, писатель и режиссёр Питер Устинов, «людям, которые только умеют

говорить и не умеют слушать, нельзя доверять. Нам же всем можно доверять. Потому что мы говорили примерно одну тридцатую часть этой беседы. Остальное время мы слушали»^[50].

«Иссык-Кульский форум» был бы невозможен, если бы не политика открытости Михаила Горбачёв, друга и единомышленника Чингиза Айтматова. Надо особо отметить и то, что лидера КПСС Чингиз Торекулович высоко ценил и уважительное отношение к нему сохранил.

А ведь знал он и Никиту Хрущёва, и Леонида Брежнева, но именно Горбачёв для него был человеком особым, светлым, достойным быть руководителем такой мощной державы, как СССР.

АЙТМАТОВ И СССР:

Когда падают горы

Что значил для киргизского народа СССР? Вопрос непростой. При всех многочисленных оговорках — преобразование. Культурно-образовательный ренессанс. После распада Союза было принято всячески его клеймить, но факт остаётся фактом: не только для Киргизстана, но и для многих народов Востока, особенно Средней Азии, СССР оказался лучшей судьбой. Была ли эта могучая страна империей? Да, но в лучшем, образно-метафорическом смысле. На самом деле Союз представлял собой некую конфедерацию народов, с делегированием основных вопросов безопасности, экономической жизни, планирования общему центру. Происходили разные процессы, в том числе и центробежные, но общую социальную политику, так называемую генеральную линию, в общем, принимали все слои населения. Очень многое делалось для подъёма экономики, культуры, образования национальных республик. Эпоха СССР для Киргизстана — это золотой век литературы и культуры, эпоха социально-экономического преобразования киргизского народа, век Айтматова.

Иные историки советской литературы утверждают, что Айтматову каким-то чудом удалось перехитрить советскую власть, особенно КГБ, и выжить лично, даже получить все мыслимые премии и награды. Это, конечно, не так. Ему просто повезло. Повезло с послесталинской оттепелью, с перестроечными временами, когда стало можно говорить и писать о том, о чём раньше говорить было невозможно. К тому же, при всей сложности взаимоотношений со своей большой родиной — СССР, с советской политической системой, писатель был её сыном. Не случайно его называли имперским писателем, планетарным мыслителем. И действительно, он был личностью под стать этой огромной, великой стране.

В кругу крупных писателей XX столетия, чей жизненный путь отразил все трагические изгибы, айтматовская биография представляет собою пример самый, наверное, выразительный. Да, был Александр Солженицын, но он-то никогда не сочувствовал советской системе и отважно вступил в титаническую дуэль с огромной коммунистической державой; были Борис

Пастернак и Анна Ахматова, но они тоже почти всегда стояли в стороне от советской политической системы.

Айтматов, его мироощущение, его дилемма — дело иное. Он прежде всего задумывался об этике, о спасении человека.

Здесь хотелось бы ещё раз повторить, что сила Айтматова как писателя, суть его гуманизма заключалась, кроме всего прочего, в том, что он был наделён исключительным талантом видеть в самом рядовом человеке огромную личность, сильную, даже титаническую натуру. У него был особый художнический дар в простом труженике распознать знаки времени, истории, увидеть драматизм и обнаружить удивительную душевную глубину.

Как писатель, как гражданин и личность, он целиком оказался связан с советской эпохой. В его творчестве, как в фокусе, запечатлелась великая история страны, её важнейшие вехи и, наконец, трагический, неожиданный её конец. Всё это было пережито не только им лично, но и его семьёй, пропущено через ум и сердце, описано в произведениях, ставших всемирно известными и вошедшими в золотой фонд не только киргизской, но и русской, и мировой литературы XX века.

Иными словами, автор романов «Плаха», «И дольше века длится день», «Тавро Кассандры» и «Когда падают горы» — очень советский писатель, который мог «правильно» говорить и выступать на различных съездах и высоких форумах, но в своих произведениях через систему философской символики, мифологических параллелей и аллегорий, метафорических шифров утверждал совершенно иные идеи и представления.

Отсюда его многолетнее танго с советской империей, его идейно-эстетическая амбивалентность. Отсюда же и его искушение политикой. Несмотря на горькие уроки и гибель отца, его, как Достоевского к карточной игре, всегда тянуло к политике, и это сильно мешало литературному творчеству.

Распад Союза 1991 года застал Айтматова врасплох, он долго не знал, как быть и что делать в новой ситуации.

И мудро решил держаться подальше от мест, где большая история месила своё, только ей ведомое тесто. Ему долго не писалось, он потерял фанатичных почитателей, аудиторию — садился голос, который раньше идеально соответствовал масштабу огромной империи, занимавшей одну шестую часть земной тверди. Перестали обращать внимание и критики, ранее кропотливо разбиравшие его тексты и способствовавшие умножению славы.

Айтматов, этнический киргиз, писавший на русском, живший в Москве, потом перебравшийся на посольские должности в Европу, несомненно, был одним из драгоценных алмазов в короне этой империи.

Его последним идейно-политическим пристанищем стала киргизская государственность. Так замкнулась впечатляющая дуга его уникальной биографии. Финал соединился с началом.

Да только финиш оказался ничуть не легче старта. Киргизстан, «малая» родина, оторвался от державы, которую Чингиз Айтматов считал своей, родной, и Россия вместе с другими бывшими советскими республиками с их миллионами преданных читателей стала для него «зарубежьем», пусть и «близким». Так что просто не оставалось иного выхода, кроме как примириться с произошедшим и пришвартоваться к родному причалу. Но для писателя имперского Киргизстан был слишком маленькой площадкой, аудитория — слишком узкой.

Есть и ещё одна сторона вопроса.

Смена эпох — культурных, цивилизационных, социально-экономических — неизбежно сопровождается болезненным конфликтом устоявшихся и нарождающихся стереотипов и привычек, их взаимоотталкиванием и трудным сближением.

Киргизская культура XX века в этом смысле не исключение. В первое время она вошла в конфликт, а затем в зону диалога с культурой русской. В начале века русская культура выступала в качестве прогрессивной силы, опирающейся к тому же на власть и административные возможности. Это освежило атмосферу, привнесло динамику в общественное развитие, дало новые импульсы местной культуре, у людей появился выбор, возникла альтернатива.

В этой связи существует весьма примечательное высказывание Айтматова, которое уже цитировалось. Оно раскрывает суть того, что мы называем особенностью нынешней национальной культурно-цивилизационной идентичности киргизов: «Я убедился, что колониализм и империализм могут иметь и позитивные стороны, что, во всяком случае, русское влияние на Среднюю Азию было позитивным. Россия своими колониальными амбициями внесла большой вклад в развитие нашей территории. Только благодаря русскому колониализму нам в Средней Азии удалось приобщиться к общей цивилизации. Россия является и останется ядром евразийской оси. Мы — люди одной цивилизации. Поэтому было бы логичным создание евразийского экономического союза, включающего некоторые государства Средней Азии и Россию. Россия много принесла Средней Азии в плане цивилизаторского прогресса, кстати, ещё до

появления Советского Союза. В ином случае у нас сегодня было бы, как в Афганистане»^[51].

Другим важным фактором, сильно изменившим облик киргизской культуры, стала Вторая мировая война, на алтарь победы в которой были положены миллионы жизней. Никогда советский народ не был так един, как в эти роковые годы. Киргизам впервые открылись русские просторы, города, жизнь простых россиян. Они увидели в них своих братьев, единых в мечте, в чаяниях, в борьбе. С того времени киргизы действительно полюбили и язык этого народа. Постепенно эта любовь стала массовой, а знание русского стало почти национальной идеей. Скоро у нас появились писатели, свободно творившие на языке Пушкина и Толстого, Есенина и Маяковского. Этот процесс увенчался в конце концов явлением Чингиза Айтматова.

В общем, в XX веке киргизский народ пережил новую эпоху своей истории — мы бы назвали её эпохой национально-культурного возрождения, необязательно в европейском смысле этого понятия. Скорее, «киргизское национальное возрождение» — это фигура речи, с помощью которой её удобнее описать и оценить. Эта эпоха исторически завершилась к концу XX столетия, с распадом СССР и возникновением независимой киргизской государственности в 1991 году.

Многие задаются вопросом, хотел ли Айтматов развала СССР, ненавидел ли он эту страну или всё-таки любил? Однозначного ответа не найти, но критиком системы он был последовательным, понимая в глубине души, что в недрах её зреют достаточно опасные центробежные тенденции. Как представителя небольшого народа, его одолевали противоречивые чувства: он никогда не хотел разрушения того порядка вещей и той в высшей степени благоприятной среды, каким был для него Союз, но и не хотел, чтобы местные традиции исчезали, забывался язык, утрачивалась культурная идентичность. Возможность свободы от Союза, чего добивался целый ряд национальных республик, он, полагаю, считал очень далёкой перспективой для Киргизии.

Чингиз Торекулович искренне любил свою большую страну. И в то же время не мог не видеть её внутренней обречённости, изначальной слабости, внутренних коллизий. Художник честный и правдивый, Айтматов обнажил силу и слабость идей коммунизма, противоречивость его ценностей и уж, конечно, не принимал репрессивную, авторитарную политику власти.

Сторонником распада СССР он не был, но критиковать его недостатки считал своим гражданским, писательским долгом. И в одном не сомневался

никогда — в острой необходимости перемен. И думал, что эти перемены произведёт новый генсек КПСС Михаил Горбачёв.

Был один связанный с Горбачёвым и Айтматовым забавный случай. 12 декабря 1988 года на государственном уровне в киргизской столице отмечали 60-летие Чингиза Торекуловича. Было это во время горбачёвского «сухого» закона. На торжество собралось всё руководство республики во главе с Абсаматом Масалиевым, рядом с которым сидел юбиляр. Прозвучал первый тост, все подняли бокалы шампанского. Кроме него, из спиртного на ломящихся от закусок и фруктов с овощами столах ничего не было.

Едва осушили бокалы, как все сидящие за главным столом поднялись и направились к выходу. Другие гости ничего не поняли, ведь официальная часть вечера только начиналась. Прошло минут 15-20, и те же лица вновь заняли свои места, а заметно оживившийся глава республики произнёс речь. Из неё следовало, что звонил с поздравлениями Чингизу Торекуловичу сам Горбачёв. И спросил: «Ну что вы там делаете? Как отмечаете?» Да вот, ответили, решили позволить себе по бокалу шампанского. «Ну что вы, товарищи, в такой день и только шампанское — так не пойдёт. Надо что-нибудь покрепче, посерьёзнее!»

Услышав это послание, все заметно повеселели. Вскорости появились водка, коньяк и началось настоящее застолье.

Курьёз, конечно, но он лишний раз подтверждает, сколь тёплые отношения связывали Айтматова с Горбачёвым, ну и с республиканским руководством тоже.

Накануне юбилея к Айтматову приходили с поздравлениями местные писатели. В одной из групп оказался и я, молодой тогда критик и аспирант. Когда все пожали ему руку, вручили цветы и начали расходиться, юбиляр попросил меня задержаться. Я присел за стол, во главе которого сидел Айтматов. Едва он заговорил, как раздался телефонный звонок. Хозяин поднял трубку и принялся повторять: «спасибо», «спасибо», «и я вам желаю всяческих благ». «Это Вадим Андреевич Медведев звонил», пояснил он. Я понял, что речь идёт о секретаре ЦК КПСС. Очередной звонок, опять из Москвы — на сей раз поздравлял Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, в то время министр иностранных дел СССР.

С Михаилом Сергеевичем Айтматов сохранял хорошие отношения до конца дней своих. Ни тогда, ни потом не упрекал он Горбачёва в распаде СССР, в тех катастрофических последствиях, к которым привела его перестроечная политика. По глубокому убеждению Айтматова, тут сказались фундаментальные законы мировой истории, когда всеобщая жажда необходимых перемен оборачивается гибелью великой страны.

Сказались тут, как он считал, и личностный фактор, и естественное желание народов самим распоряжаться своей судьбой.

И никто, а провозвестники «нового мышления» в первую очередь, не мог предположить, что даже символическое ослабление туго затянутых репрессивных ремней чревато настоящей катастрофой. Коммунисты-фундаменталисты попытались было повернуть ход истории вспять, устроив путч, а амбициозный Ельцин и его команда радикальных западников в буквальном смысле слова пустили под откос огромную страну, заодно разрушив десятилетиями складывавшиеся экономические и культурные связи.

Горбачёв был человеком и политиком совершенно другого, сравнительно со своими предшественниками, поколения. При его власти начался глубокий системный кризис Союза, а с ним — и неизбежные центробежные процессы. Он всячески старался ускорить подписание нового союзного договора, текст был фактически готов и в целом согласован, но неугомонный Ельцин торопил события, чтобы сбросить с трона и удалить из большой политики своего соперника Горбачёва. И рухнул Союз. Но рухнул с миром, почти не подняв пыли.

Политика перестройки и гласности лишь вскрыла язвы советского общества, а как исцелить их, никто не знал. С другой стороны, оставить всё как есть и ничего не менять было уже невозможно. Отсталость и консерватизм советской системы экономики и политического управления стали очевидны.

Советские люди потеряли свою общую Родину, которой гордились и которой были многим обязаны. Но столь же быстро обрели новую, ту, что раньше называли «малой». Она стала теперь по-настоящему большой. Одной единственной. На их глазах уходила одна эпоха, наступала другая.

АЙТМАТОВ-ПРЕЗИДЕНТ?

Последнее искушение политикой

Когда начался так называемый парад суверенитетов, Чингиз Торекулович был советским послом в Люксембурге. Как и все люди планеты, он следил за этим почти фантазмагорическим процессом распада великой страны по телевизору и газетам. Удивительно, но наша маленькая республика оказалась в этом процессе впереди многих. Она провозгласила себя независимым государством раньше и Казахстана, и других республик Средней Азии.

Это было 31 августа 1991 года. Многие помнят, как киргизстанцы, проснувшись утром и узнав, что парламент принял Декларацию Независимости, оказались в состоянии психологического смятения. Жить отдельно, без СССР... Всё это трудно укладывалось в голове; очень многие опасались голода, разрухи, полного коллапса в экономике, социальной жизни, политике. Страна погрузилась в тот день в глубокое молчание. Никаких криков «ура», шапкозакидательства — у каждого была своя дума, а коммунисты открыто оплакивали исчезающий на глазах Союз, проклиная Горбачёва вместе с Ельциным.

Но ещё до провозглашения независимости произошло событие, которое стало последним искушением политикой для Айтматова. Его роль в духовной и общественной жизни Киргизии всегда была очень весомой. Все знали, что и в Москве Айтматов пользуется высоким авторитетом. Наконец, это был самый известный и уважаемый киргиз во всём мире. Бытовала даже легенда, что он, свежееиспечённый лауреат Ленинской премии, хотел сесть на место Турдакуна Усубалиева, подбросив на него Москве некий компромат и попытавшись устроить что-то вроде дворцового переворота. А что? В это время Айтматов уже был вхож в Кремль и мог повлиять на некоторых членов политбюро. Но, как гласит та же легенда, Усубалиев, пользуясь своим положением первого секретаря ЦК республики, успел опередить Айтматова буквально в приёмной Леонида Брежнева. Считается, что после этого случая Чингиз Торекулович никогда больше не ставил своей целью взобраться на республиканский Олимп, довольствуясь положением самого известного человека Киргизии.

Но когда уходил один из последних партийных руководителей

Киргизии, Абсамат Масалиев, и встал вопрос об избрании первого президента обретшей независимость страны, естественно всплыло имя Чингиза Айтматова. Есть целая история о том, как группа писателей и политиков уговаривала его дать согласие быть главой республики и как он решительно отклонил это предложение. Известно также, что именно он рекомендовал избрать на высший государственный пост Аскара Акаева, тогдашнего президента Академии наук Киргизии.

Айтматов был крупным писателем, но не в меньшей степени и политиком, что подтверждается вовсе не его многолетним статусом депутата как в республиканском, так и в союзном парламенте. Он по природе своей был человеком масштабно мыслящим, мудрым, но главное — в высшей степени ответственным. Это видно по его публицистике, многочисленным интервью, беседам, в том числе со всемирно известным японским философом и гуманистом Дайсаку Икеда, а также с казахским поэтом и общественным деятелем Мухтаром Шахановым.

Ядерная проблематика, вопросы экологии, воспитание молодёжи, даже сельское хозяйство находились в центре его внимания. Он, к примеру, считал, что значительное изменение экономической, геополитической картины мира после распада СССР привело к тому, что существенно изменилось равновесие сил как на глобальном, так и региональном уровнях. Как результат этих процессов, возникла реальная опасность нарушения того хрупкого стратегического равновесия, которое возникло после падения Берлинской стены. По его мнению, самый важный из новых вызовов — сохранение международной стабильности, предотвращение нового глобального противостояния, поддержка и укрепление разумного мирового порядка и международной законности с учётом прав народов на самостоятельное государственное, культурно-духовное развитие.

Хорошо, что Чингиз Айтматов не поддавался соблазну высокой власти. Не он повёл страну по пути рыночных преобразований, иначе, будь первый учитель Дюйшен или коммунист-чабан Танабай реальными людьми, мечтавшими о мировой революции, они, наверное, в гробу бы перевернулись.

Из этого, конечно, не следует, что Чингиз Торекулович не принял или внутренне отверг независимость Киргизстана. Прошло какое-то время, и он примирился с новой действительностью, а после и вовсе превратился в патриота своей суверенной страны, что, разумеется, было очень важно для молодой государственности, придало людям надежду и даже уверенность в первые годы. Он успешно и очень достойно представлял нашу республику в Европе, своей личностью и знаковым именем символизировал

Киргизстан, сопереживал неудачам и радовался достижениям. Он выучил текст нашего национального гимна, и я своими глазами много раз видел, как он его с гордостью исполнял вместе со всеми.

Помнится, в 2007 году Айтматов давал интервью «Голосу Америки» в прямом эфире. Его вели журналисты из Вашингтона. Это было 30 августа, накануне праздника независимости.

Вопрос: «Чингиз Торекулович, вы знали очень многих известных людей, политиков, некоторых из них давно уже нет в живых. Если бы была такая возможность, вы кому из них отправили бы послание или написали?» После короткой паузы Айтматов ответил: «Пожалуй, я бы написал Александру Трифоновичу Твардовскому. Это был великий поэт и выдающийся редактор. Было бы о чём написать ему...»

«— А всё же, — настаивал журналист, — кому из политиков Вы бы отправили послание?»

— Конечно, Александру Николаевичу Яковлеву, главному идеологу перестройки и гласности. Мы очень хорошо знали друг друга, долго дружили. Его мнение о некоторых вещах, происходящих сейчас, было бы очень важно для меня...»

И тут журналист подошёл к главному своему вопросу: «Вот Киргизстан уже шестнадцать лет живёт как независимая страна, как самостоятельное государство. Как вы думаете, есть ли у него перспективы, что может ждать вашу страну в обозримом будущем? Как она развивается?»

Ответ: «Конечно, есть трудности, проблемы. Мы учимся, на ошибках в том числе. Не всё просто, ничего не даётся легко, но, тем не менее, страна развивается... Я верю, — продолжал Айтматов, — что мы сможем постепенно наладить жизнь, поставить на нормальные рельсы экономику. Верю, что всё будет нормально. Верю, хотя, повторю, не всё просто...» Айтматов трижды употребил слово «верю», и это глубоко знаменательно, тем более что как раз тогда он закончил свою прощальную книгу «Когда падают горы (Вечная невеста)» — книгу неутешительных итогов и суровых философских заключений. Это роман-метафора о гибели большой страны, поиске утраченного времени, где в жизни основного героя, Арсена Саманчина, отражающей линию жизни самого Айтматова, угадывается трагическое предощущение близкого конца. Получилось так, что писатель оплакал гибель самого себя, а спустя полгода уже мы прощались с ним.

АВТОГРАФЫ НА ОБЛОМКАХ

Говоря об отношении киргизских писателей к идее киргизской государственности, надо признать, что мало кто из них был готов осознать значимость этого исторического события. Наоборот, большинство не скрывало свою тоску по советской системе (даже с её цензурой), поощрения литературного творчества. Выяснилось, что люди привыкли к тому, что когда книга — если она соответствует всем «требованиям», особенно критериям лояльности режиму — выходит из печати, в издательстве можно получить гонорар. В условиях рыночной экономики этого не получается. Здесь всё наоборот: пиши что хочешь и печатайся где хочешь, но никакого гонорара тебе не заплатят, если книга не продаётся.

Вот так советская литература и умирала, в тяжёлых предсмертных конвульсиях. Распался на несколько самостоятельных творческих организаций — обломков и осколков — некогда единый писательский союз несуществующей больше страны. И в Киргизии, увы, произошёл раскол — на месте прежней, единой, появились три новые литературные корпорации. Примирить разбежавшихся по разным квартирам писателей не смог даже Чингиз Торекулович. Да и находился он тогда в Европе, справляя посольскую службу сначала в Люксембурге, а потом в странах Бенилюкса.

Но дело было, конечно, не в изменении организационных форм литературной жизни. Писатели растерялись, не зная, как изображать и интерпретировать происходящее. Газетная журналистика просто охаивала и проклинала демократию, виня её во всех бедах народа, а литература находилась в состоянии полной фрустрации.

Советская литература в целом и киргизская в частности постепенно входили в длительную стадию кризиса. Самый существенный ущерб литературному процессу в Киргизстане в 1980-х годах нанесло снятие — в условиях тяжёлого экономического кризиса — с государственной дотации газет и журналов, таких как «Ала-Тоо», «Литературный Киргизстан», еженедельника «Киргизстан маданияты». Последний был вскоре приватизирован, но из-за отсутствия средств журнал «Ала-Тоо» перестал выходить. Не только по финансовым причинам, но и из-за серьёзных разногласий в писательской среде.

Такая ситуация продолжалась около двадцати лет, вплоть до 2004 года, когда всё-таки удалось объединить разрозненные силы и вновь создать

единый писательский союз с соответствующей государственной поддержкой.

Конечно, советская, в том числе киргизская, литература была по преимуществу литературой обслуживающей, насквозь конъюнктурной, несвободной и в целом глубоко вторичной. Такие мастера, как А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков, А. Осмонов, Ч. Айтматов, Т. Касымбеков сумели высказать много смелых и важных идей, часто прибегая к метафорам, иносказаниям, намёкам, к эзопову языку, чтобы показать правду своего времени, но это были всё-таки исключения. И надо было прожить почти 20 лет после обретения независимости, чтобы киргизские писатели наконец заговорили о национальной государственности, о святости государственного флага и всех символов суверенитета.

Следует отметить, что в то бурное время 1990-х Чингиз Айтматов не потерял своей творческой формы, продолжал творить, осмысливать происходящее. Это он сказал однажды, что даже Шекспир был бы бессилён отразить весь этот ужас хаоса и предательства, жульничества и падения простых людей на самое дно общества, который принёс собой коллапс СССР. Поэтому в первое время и у него не было никакой уверенности в том, что этот вселенский хаос приобретёт черты хоть какого-то порядка. «Печально видеть, — писал тогда Чингиз Торекулович, — что наряду с изменением экономических отношений стало оскудевать и наше духовное богатство. Чего греха таить, при советской власти любой вид искусства и художественного творчества становились орудием партийной пропаганды. И хотя культуру душили узкие рамки “социалистического реализма” с его недремлющей цензурой, государственные издательства выполняли огромную работу, бесперебойно и своевременно выпуская добротные печатные издания. Лишившись политической опеки, государство прекратило финансировать из бюджетных средств издательства, газеты и журналы, как это было прежде»^[52].

В интеллектуальной жизни республики 2000-х годов больным вопросом оказалось антицарское восстание 1916 года, известное под названием Уркун. Спор развернулся вокруг, казалось бы, самого простого вопроса — определения характера восстания. Одни историки писали о «стихийном бунте», другие утверждали, что это «национально-освободительное восстание». Вскоре появилось ещё одно определение — «борьба за национальную свободу». Была издана книга под названием «Уркун» — собрание наиболее интересных и научно выверенных работ.

Разумеется, все видные представители национальной интеллигенции отдавали себе отчёт и в том, что освещать события прошлых лет надо не

нанося вреда, не раскалывая современное киргизское общество. Например, Айтматов в одном из выступлений справедливо говорил, что «нам нужен не столько 1996 год (в том году многие предлагали отметить 80-летие восстания. — О. И.), сколько 2016 год».

Но куда более спорным и болезненным вопросом оказался киргизский язык, его реальное положение. В ситуации, когда в Киргизстане и рабочим языком, и языком образования стал русский, в сравнении с которым язык Токтогула и Тоголока Молдо, Алыкула Осмонова, Аалы Токомбаева по совершенно объективным причинам не выдерживал конкуренции, родная речь превратилась в язык газет и «кухонь». Это всерьёз беспокоило всех думающих людей Киргизстана, в том числе и деятелей культуры. Но весомее и сильнее всех звучал голос Айтматова, для которого проблема родного киргизского языка стала самой настоящей сердечной болью.

Надо сказать, что изучение местных языков, таких как киргизский, всячески поощрялось с самых первых лет советской власти. В 1920—1930-е годы, в послевоенное время широко развернулось научное изучение и систематизация лексического богатства киргизского языка. А в 1950-е годы, когда республикой руководил Исхак Раззаков, киргизский язык начал изучаться и в русских школах, что было совершенно справедливым и нужным делом. Но после его отставки за «проявления национализма» этот процесс затормозился. Такое состояние дел продолжалось до конца 1980-х годов XX века, когда с началом горбачёвской перестройки судьбы родного языка переместились в центр интересов общества. В 1987 году о них во весь голос заговорил Чингиз Айтматов.

Естественно, его выступления вызвали широкий резонанс, причём не только в республике, но и во всём Союзе. Фактически широко подхваченные газетами и телевидением, они всколыхнули всё советское общество, можно сказать, стали одной из важных предпосылок оживления национальных чувств в СССР в целом и в союзных республиках в частности.

Таким образом, эпоха государственной независимости наложила свой неизбежный отпечаток на жизнь и творчество Чингиза Айтматова. Да, в первое время он во многом сомневался, не был уверен в том, сформируется ли государство, выживет ли страна экономически, не возникнут ли хаос и всеобщая нищета. Но потом пришёл к выводу, что всё происходящее — творчество истории и со временем поверил в будущее не только Киргизстана, но и других стран Средней Азии, которые считал своей родиной.

Что же касается России, то Айтматов старался принимать активное

участие в разных общекультурных мероприятиях, возглавлял один из Московских международных кинофестивалей, считая себя, как и ранее, полноправным представителем российской словесности.

И всё-таки главные его заботы в последние годы жизни были связаны с ростом молодой киргизской государственности.

В ПОИСКАХ БОГОМАТЕРИ В СНЕГАХ

В начале была история. История киргизской девушки, принявшей христианство. Потом приключилась ещё одна, связанная уже с Чингизом Торекуловичем Айтматовым. Всё это я видел собственными глазами.

Дело происходило летом 1999 года. Вернувшись с работы, я ещё с порога заметил, что в доме гости. Оказалось, пришли повидаться, узнав, что мы с женой вернулись из Индии, где я несколько лет прослужил послом, мои дальние родственники. Поздоровались, завели разговор. И тут я заметил, что по комнатам бегают, не обращая внимания на попытки взрослых остановить его, забавный мальчуган лет примерно пяти. Потом всё-таки мамаша его поймала, и я пытался с ним поговорить. «Как зовут?», спросил. Он что-то мне ответил, но я не смог разобрать, какое же у него имя. «Абил?» «Абдиль?» И тут его мама меня поправила: «Авель». Но это же не киргизское имя, говорю, вроде библейское. «Так?» «Так», с некоторым смущением кивнула родственница. «А почему, — спросил я, — так называли?» — «Не знаю, просто захотелось». И тут я начал постепенно догадываться, в чём всё-таки дело. «Неужели ты стала христианкой?» «А что в этом плохого? — парировала гостя. — Бог один, а Иисус — наш пайгамбар...» Пайгамбар по-киргизски означает «пророк».

Честно скажу, мною овладело очень сложное чувство — были в нём и возмущение, и стыд, и какая-то тревога. И удивление тоже. Но спорили недолго. Я сразу понял, что это бесполезно. Она стала баптисткой. Кое-кто из сидящих начал выяснять, в чём отличие баптизма от других течений в христианстве.

Словом, я попросил гостей не затевать спора на эту деликатную тему. Но мне запала в память одна история, рассказанная племянницей. «Вот такие, как вы, доводят людей до отчаяния, иногда они даже исчезают...» «Как это?» — «Очень просто. Недавно моя подружка из села Рот-Фронт пропала, потому что родители хотели то ли убить её, то ли отречься от неё, и вот, говорят, нигде её не могут найти». «Может, просто куда-нибудь убежала?» — «Как бы не так». «А уж не ты ли сама её втянула в свой круг?» — грозно спросил кто-то из сидящих за столом. Тут наша родственница, видно, не выдержала и, чуть не плача, воскликнула: «Если бы вы знали, какая она была хорошая! Да ангел просто...» И выбежала из комнаты.

Чуть позднее выяснилось, в чём всё-таки дело и что это за девушка. Да и Рот-Фронт я знал неплохо, потому что родители моей супруги жили в соседнем селе и мы часто туда приезжали. А некоторых этнических немцев, исповедующих баптизм и издавна живущих там, я знал лично.

Была это, судя по рассказам, и впрямь чудесная, хорошо воспитанная девушка, умница с твёрдым характером. Приехала в Бишкек поступать в университет, но не поступила, хотя в школе училась отменно. Посчитала, что это для неё позор, тем более что иные одноклассницы, окончившие школу с оценками поскромнее, чем у неё, стали студентками. Девушка долго не возвращалась в село, сообщив родителям через знакомых, что поступила.

Жила у какой-то подружки, но что была за подружка — история умалчивает.

...И тут в городе с ней произошло что-то очень личное, но что именно, никто не знал. Она резко изменилась. Первыми это заметили её подружки, а потом и родители, особенно мать. Девушка была бледна, но глаза горели каким-то особым огоньком. То, что она втянулась в некое религиозное сообщество, узнали именно тогда. Судя по всему, родители восприняли эту новость как семейную катастрофу и тут же, недолго думая, решили любой ценой вернуть дочь домой и срочно выдать замуж. При необходимости, — насильно. Узнав про это, девушка скрылась неизвестно куда...

Обо всём этом я и рассказал Чингизу Торекуловичу в один из его наездов домой из Европы. Хотелось знать, что он думает о переходе киргизов в баптизм, адвентизм и иные течения. Он задумался, и неудивительно: единых рецептов в таких делах ни у кого нет и быть не может. «Ну и как, — спросил писатель, — нашлась в конце концов эта девушка?» — «Точно не знаю, — говорю, — но, наверное, нашли».

Прошло время. И, кажется, зимой того же года я прочитал в местной газете «Дело №» статью, которую тут же вырезал и отправил по почте Чингизу Торекуловичу. Речь в ней шла о том, как одного рано умершего киргиза из Кеминского района, тоже принявшего христианство, родственники целых три дня не могли предать земле. Газета цитировала слова некоего священнослужителя по имени Кадырбек, который с возмущением рассказывал об отношении местных жителей к таким вот «иноверцам», которым даже места на сельском кладбище, где лежат все близкие покойного, не находится. Не разрешили похоронить и в соседнем селе. Разумеется, местный имам категорически отказался совершить обычную в таких случаях жаназу (заупокойную мусульманскую молитву). Пришлось, как писала газета, вмешаться местной власти, и в конце концов,

человека похоронили в стороне от сельского кладбища, как какого-то изгоя. Горе близких, прежде всего родителей, было неопишимо. Такой же инцидент имел место и в одном из районов Иссык-Кульской области.

Где-то в июне Чингиз Торекулович в очередной раз приехал из Бельгии и в одной беседе я вновь заговорил о религиозной, как формулируют учёные люди, конвертации. Об увеличении числа киргизов, переходящих в христианство. Это, в случае определённой массовости, крайне осложнило бы наше и без того нелёгкое бытие. «Боже, только этого нам не хватало», восклицал я, и Чингиз Торекулович согласно кивал.

«Напишите об этом, Чингиз Торекулович», — говорю я ему, зная, что это его тема, его писательская стихия. Он глубоко задумался. «Интересно, что же всё-таки получилось с той девушкой, которая сбежала из дома, помнишь?» — сказал он. Стало ясно, что писателя задела человеческая сторона, психологическая драма. «А может, я позвоню знакомым, попробую узнать?» — предложил я. Чингиз Торекулович промолчал, и на этом мы расстались.

Но мысленно я стал часто возвращаться к этому разговору, прекрасно сознавая, какими испытаниями для моего народа могут обернуться подобного рода ситуации. Что же делать? Запрещать на уровне конституции все остальные религии, кроме ислама и православия, как предлагали некоторые эксперты? Это было невозможно хотя бы потому, что противоречило одному из фундаментальных положений Всеобщей декларации прав человека, международному праву и нашей собственной конституции, провозгласившей свободу вероисповедания в Киргизстане. Да и запреты, как показывает жизнь, только усугубляют конфликты, пробуждают интерес к «запретному плоду». Не говоря уж о том, что религиозное чувство — одно из самых крепких и сокровенных, его не подавить одними только увещаниями и декретами. Одно для меня было ясно — эту тему может затронуть, обозначить её глубину и всю сложность только Чингиз Айтматов. И мне казалось, что он об этом напишет.

После того разговора с ним я даже начал себе представлять, как именно у него это получится, как повернёт он тему. А может, появится некое продолжение таких романов, как «И дольше века длится день» или «Плаха»? И опять поражался Айтматову, который в своём первом романе описал сходную ситуацию, когда человека тоже не могут предать земле, хотя и по иным соображениям. Похоронная процессия тянется, люди с грустью думают о бренности жизни и сиюминутности бытия, но из-за придуманных другими людьми причин (в данном случае — из-за близости запретной зоны советского космодрома) не могут упокоить умершего.

Потом я вроде как отвлёкся от своих фантазий, но их оживил сам Чингиз Торекулович, предложив мне летом 2003 года съездить вместе с ним в село Рот-Фронт.

А я, в свою очередь, с его согласия попросил присоединиться к нам молодого бизнесмена Осмонбека Артыкбаева, буквально боготворившего Чингиза Торекуловича. На джипе Осмонбека мы и отправились в Иссык-Атинский район, где находится село Рот-Фронт.

...Наш философский диспут начался уже в самом начале пути. Я ему сказал: «Чингиз Торекулович, знаете, какое из ваших произведений я больше всего люблю?» — «Какое?» — «Небольшой рассказ “Плач перелётных птиц” о древних киргизах, когда отправившиеся в военный поход джигиты не возвращаются, никаких вестей от них нет, дети и жены плачут, уповают только на Бога, и томительное ожидание приговора судьбы вызывает у любителей высокой мысли поразительные философские раздумья о смысле жизни и человеческого бытия...» Мой собеседник выдержал долгую паузу и произнёс задумчиво: «Да-а, что поделаешь, таковы мы, люди, такова жизнь...» Я, пользуясь своими читательскими привилегиями, не унимался: «Может быть, всё-таки завершите, допишете его? Или, например, “Бахиану” или “Богоматерь в снегах”»?

И сразу же почувствовал, что не лежит у него душа говорить на эту тему. «Ну, тогда напишите хотя бы рассказ про эту девушку из Рот-Фронта. Какая актуальная тема, какая фактура тут!..» Он обернулся ко мне: «Если вот позволят небеса...» — и показывал на край неба, видимое из окон машины. И опять задумался.

Дальше разговор зашёл о современной литературе, в частности о прозе Пауло Коэльо, которая ему явно не нравилась. «А вот мне, — возразил я, — близок его мистицизм, отход от привычных троп реализма. Знаете, мне порой кажется, что люди немного устали от реализма, от быта, от сленга, хочется каких-то волшебных превращений, даже некоторого ухода от действительности. Хоть на страницах книг забыться хочется». И в подтверждение сослался на финал «Белого парохода». Чингиз Торекулович лишь покачал головой, то ли в знак согласия, то ли в такт собственным мыслям.

Тем временем мы уже подъехали к селу, о чём отрапортовал наш юный водитель — Осмонбек. Даже удивились, как быстро время пролетело: только выехали и вот уже на месте. Подъехали к Дому молитвы, месту сбора последователей баптизма. Обратили внимание на цветущий, ухоженный сад вокруг церкви, тоже, судя по виду, недавно обновлённой. Внутрь писатель войти не захотел, да и у меня особого желания не было,

тем более что непонятно, как к этому отнеслись бы верующие, среди которых было и много киргизов. Потом мы поехали в мечеть, построенную, как нам сказали, годом раньше на деньги каких-то арабских фондов. Там никого не оказалось, и видя, что Чингиз Торекулович хочет поговорить с кем-нибудь из местных, мы отправились на поиски имама села. Наконец, нашли. Его дом оказался в узком переулке и, подъехав прямо к воротам, Осмонбек коротко посигналил.

Никто не откликнулся, но проходивший мимо киргиз сказал, что имам только что был дома, так что мы продолжали сигналить. Наше упорство было вознаграждено — хозяин в одной майке наконец вышел на крыльцо.

На вид ему было лет тридцать пять-сорок. Увидев нас, имам никакого энтузиазма или даже подобия интереса к нашим персонам не проявил. На вопросы отвечал односложно и коротко. Говорил в основном Чингиз Торекулович. Вскоре я почувствовал, что начинаю злиться на этого господина, именующего себя почему-то имамом. Скорее всего, меня покорило то, что молдо^[53] просто обязан был, следуя традициям нашего народа, пригласить нас выпить по чашке чая, пусть даже заходить в дом мы не собирались. Я видел, что он узнал и Айтматова, и меня, но отвечал на расспросы Чингиза Торекуловича сухо, с каменным лицом. В конце концов я не выдержал и прервал разговор: «Молдоке, зайди, пожалуйста, в дом и оденься нормально! И потом выйди». Наш водитель только головой покачал, поняв мой справедливый гнев. А Чингиз Торекулович лишь протянул неопределённо: «М-да...»

«Может, поедем дальше? — предложил я. — Тут недалеко знаменитое Кегетинское ущелье-заповедник».

Мы начали разворачиваться, когда вышел молдо, на сей раз одетый, но я в его сторону не повернулся. Вроде он что-то говорил, и Айтматов его поблагодарил. Но всё это уже не имело никакого значения. Этот человек уронил честь не только имама, он посрамил честь киргиза. Другой бы плашмя лёг под колёса машины, чтобы к нему в дом заглянул великий писатель, как чудо с неба оказавшийся у порога. Хотя бы для того, чтобы потом похвастаться перед односельчанами. Таковы непреложные законы национального этикета и киргизского гостеприимства. Он этого не сделал. Теперь стало понятно, почему мечеть пустовала: кто последует за таким вот имамом? Я был элементарно зол, с трудом сдерживал себя. А Чингиз Торекулович опять ушёл в свои думы.

Понятно, что про ту девушку, принявшую христианство и ушедшую из дома, мы в разговоре с этим имамом даже не заикнулись. Теперь мне почему-то расхотелось вспоминать эту историю.

Вскоре мы въехали в ущелье и остановились на невысоком пригорке возле дороги. Решили немного размяться. Вид Кегеты был замечателен, и мы долго любовались столь живописным местом. А Чингиз Торекулович всё молчал и продолжал думать о чём-то своём. Потом, указывая на красивую возвышенность недалеко от села, спросил: «А что это за сопка, как называется?» «Кароол, — ответил я, — местные поднимаются на неё, чтобы отыскать пропавшую скотину или просто отдохнуть. Она достаточно высокая, иногда на ней снег лежит». И сразу мне подумалось, что не зря Айтматов спросил об этом.

«Мне кажется, что она была единственной дочерью в семье, — сказал вдруг писатель, и снова замолчал. — Думаю, она вышла из дома и решила подняться на этот холм ночью, когда её хотели забрать жених и его родители. Дул сильный ветер, потом пошёл дождь со снегом...» Я посмотрел на высокую сопку и её крутые каменистые склоны, на следы давнишнего оползня, на месте которого уже поднялся кустарник. Молчал, слушая писателя затаив дыхание. Потом всё же не выдержал: «Как же она умудрилась это сделать, если дома сваты и жених ждали?»

«Ну, может, все решили, что это у неё примета такая — перед каждым важным шагом в жизни подниматься на свою любимую гору?» Я чувствовал, что он уже многое домысливал, и во мне вновь пробудился заинтересованный читатель, мне не терпелось узнать, как продолжится и разрешится теперь уже воображаемая писателем драматическая история. «Но она вернётся назад или?..» — осторожно спросил я. А Чингиз Торекулович продолжил: «...Но к утру ветер затих, дождь прошёл, и все решили, что с рассветом пропавшую девушку найдут. И хоть ещё была ночь, верх сопки казался им таким белым-белым... Он излучал какой-то особый свет... трепетный и неяркий». Мне, киргизу, страшно было даже представить, что будет дома, где собрались сваты и родня, никто ни о чём дурном не думает, а дочь вдруг не возвращается. Что будет с матерью, которую и так во всём винил, как у нас водится, разгневанный поведением единственной дочери отец? Убьёт он её, задушит? А что будет со сватами? А с женихом, опозоренным навсегда? Вот тебе и киргизская трагедия про современную Джульетту...

Ответа на мой наивный вопрос не последовало. А тут как раз Осмонбек пригласил к раскинутому на капоте машины дастархану. Чингиз Торекулович пригубил красного французского вина и почти ничего не съел. Решили перекусить попозже. Осмонбек сделал несколько любительских фотографий на фоне красивого ущелья, и мы двинулись дальше.

Я предложил вернуться в город не по трассе, а по дороге через Иссык-

Атинский курорт, по склону гор, через сёла Горная Маёвка и Норус. Решили остановиться на каком-нибудь пригорке и там пообедать.

На обратном пути Чингиз Торекулович повеселел и рассказал довольно смешную историю о том, как однажды его пригласил к себе в Кегеты покойный писатель Насирдин Байтемиров, и как тот, лёжа в глубокой траве, подманивал перепёлок каким-то свистком, издавая звуки, похожие на любовную песню самки, зазывающую в жаркую летнюю пору самцов, и они легко попадали в раскинутые капроновые сети хитроумного ловца. Айтматов со смехом рассказывал, как они с Байтемировым поссорились из-за этого нечестного, на взгляд Чингиза Торекуловича, способа охоты. Возмущённый таким коварством, он даже ушёл было, но Насирдин-ага, явно растерявшийся от столь наивного протеста взрослого человека, его нагнал и они помирились. Я подумал про себя: даже в этом весь Айтматов, сидящий сейчас рядом со мной.

Действительно, Чингиз Торекулович в быту часто бывал как-то по-детски наивен, что странным образом сочеталось с его философским образом мышления, склонностью к экзистенциализму. Непростая жизнь научила его многому, в том числе и тому, как выходить из той или иной запутанной ситуации, избегая при этом открытых конфликтов.

Словом, на обратном пути мы много смеялись. Но из головы у меня никак не выходила та тема религиозной конвертации. Теперь мне не терпелось узнать, как повернёт историю сменившей вероисповедание девушки фантазия художника. Ясно, что за ней, этой сельской историей, вырастет проблема всемирного значения. Киргизы — умеренные мусульмане, живущие в эпоху кризиса, зачистившие в страну после завершения эпохи государственного атеизма миссионеры самого разного толка, немецко-киргизское село Рот-Фронт, эта сопка, похожая на местную Фудзияму... Я испытывал подлинное предвкушение нового айтматовского шедевра. И тут мне в голову пришла дерзкая мысль: будущее произведение следовало бы назвать «Богоматерь в снегах».

«Как это? — возразил Айтматов. — Это же название другого произведения, пусть не завершённого». И добавил, что описывает в нём события времён Великой Отечественной войны, размышляя о силе религиозного чувства и человеческой морали. «Ну и что, — гнул я свою линию, — Хемингуэй, например, однажды наткнулся на свою незавершённую некогда рукопись, извлёк из неё эпизод со старым рыбаком и получилась знаменитая повесть “Старик и море”, вскоре после появления которой автор получил Нобелевскую премию». Но понял, что к моим аргументам не прислушиваются и с сожалением замолк.

Тут я позволю себе забежать немного вперёд. После этой поездки как-то раз Чингиз Торекулович позвонил мне, кажется, из Бельгии и произнёс: «Ты знаешь, я нашёл для той истории название...» — «Какое?» — «Негасимый след молнии...» Я ничего не сказал. Бог видит, по мне так «Богоматерь в снегах» лучше.

Тем временем мы выехали из Иссык-Атинского ущелья, миновали курорт и уже спускались по пологому склону. Вся благодатная Чуйская долина была видна как на ладони. Солнце стояло в самом зените. Вокруг бушевало такое разнотравье, такая роскошь предгорных цветов и порхающих разноцветных бабочек, что мне захотелось выскочить из машины и ребёнком кувыркаться на этом райском травяном ковре.

В селе Горная Маёвка мы увидели красивый свежескошенный пригорок с многочисленными стогами сена, и я велел свернуть туда. Новый японский джип бизнесмена без труда понёс нас на самый верх, где мы и решили сделать привал.

Выйдя из машины, я тут же упал, как на перину, на стог сухого сена. Такого удовольствия от поездок я давно не получал. Следом за мной Чингиз Торекулович, опустив на глаза кепку, тоже зарылся в стог как в глубокое кресло. Ну а наш Осмонбек, который тут же начал прямо на траве разворачивать достархан, так просто был счастлив.

Казалось, Айтматов утратил привычный облик всемирной знаменитости и солидного, официального лица и, возможно, вернулся на миг в далёкое детство и юность. Бог видит, я так хотел бы узнать, о чём же он тогда думал и в какие пределы времени и пространства помчались его легкокрылые мечты и высокие думы... Теперь это уже точно не дано.

При всём желании поговорить о литературе, о сюжете с девушкой, павшей жертвой обстоятельств и ставшей по-своему святой, пришлось сперва заняться едой и поднять положенный в таких случаях тост. Естественно, мы пили за здоровье нашего дорогого гостя. За его творчество, особенно за произведение, которое рождалось на наших глазах.

Мы пили вино, а Чингиз Торекулович — виски с содовой. Пил совсем немного. Но еда ему весьма понравилась. И тут случилось то, что меня по-настоящему обрадовало, не оставив места печальным мыслям о том, что наш народ начинает забывать священные национальные традиции.

...Когда мы только начали нашу полевою трапезу, чуть поодаль появился вдруг какой-то мальчик верхом на коне. Посмотрел на нас и повернул было в другую сторону. Чингиз Торекулович окликнул его, и видя, что он стесняется подойти, взял сладости и сам к нему направился. «Ме, айланайын»^[54], сказал он, делая ударение на второй слог, как это

принято у казахов. Мальчик вежливо поблагодарил, отъехал и вскоре скрылся за косогором. Немного погодя на том же коне появился уже взрослый мужчина и подъехал прямо к нам. Вспомнив недавний опыт общения с рот-фронтским имамом, я насторожился. Вдруг нагрубит, и если это его земля, не дай Бог, прогонит? Но Айтматов явно обрадовался появлению незнакомого всадника, а тот сразу же его узнал, слез с коня и начал протягивать всем руку. Присел к достархану, оглядел красивые бутылки с интригующим содержимым.

Сразу завязался оживлённый разговор. Много чего рассказал нам незнакомец о жизни села, своей семье, хозяйстве. Действительно, мы оказались на его пастбище. Узнали, что у него около сорока коз, пять или шесть коров, дети уже взрослые. И конь был его. «Чынгыз ага, теперь будьте, пожалуйста, моими гостями, зарежу в вашу честь ягнёнка или козу, как же иначе?» — сказал он.

Одним словом, этот человек, имени которого я не запомнил, спас на моих глазах национальную честь киргиза, и это тоже обещало благополучное завершение нашей поездки. Заметив, что Чингиз Торекулович подустал, мы начали собираться в путь, да и время склонялось уже к 4 часам пополудни.

Как только двинулись, Айтматов задремал. Выключили музыку, ехали не быстро. Спустя полчаса мы уже были в Бишкеке. Чингиз Торекулович проснулся. Разговорились и за беседой подъехали к его дому.

«Ну, Осоке, спасибо тебе, вам обоим, за эту поездку. По-моему, всё получилось очень здорово. Самое главное, хорошо поговорили, многое поняли, узнали, правда?»

А мы были рады безмерно. А наш Осмонбек, который со своей задачей младшего спутника и умелого водителя справился блестяще, ответил: «Чынгыз байке, давайте, напишите про эту историю, которая меня, например, очень взволновала. Это же очень серьёзная проблема. Надо писать!» Я, разумеется, поддержал его. И тут Чингиз Торекулович сказал, пожалуй, своё самое важное, ключевое слово за всю поездку.

«А ты знаешь, что с этой девушкой случилось и куда в самом деле она пошла?»

«Куда?»

«Она поднялась на этот Кароол. Ночью. Ветер. Дождь и снег...»

«А потом куда? Обратно домой? В город? А может, её волки...? Или сорвалась со скалы?»

Чингиз Торекулович загадочно посмотрел на меня и, приоткрывая дверь машины, сказал:

«Она вознеслась на небо».

Эти слова гулким эхом отдались во мне. Вот как, выходит, Айтматов решил завершить эту историю. И ещё раз я отчётливо понял, что рядом со мной сидел не просто большой писатель, а гений. Он вышел. Вышли и мы. Попрощались. Кто бы мог подумать, что наше путешествие обернётся настоящим интеллектуальным приключением, точку в котором поставит Чингиз Айтматов...

Мы оба смотрели на него, пока он не зашёл во двор, закрыв за собой металлическую калитку.

И могло ли мне тогда прийти в голову, что это произведение он так и не напишет и, подчинившись воле судьбы, сам улетит куда-то очень далеко, и живым домой, на свою Родину, не вернётся? Улетит, оставив за собой своё великое слово, свои думы и образы, и «Вечную невесту»...

И часто вспоминается мне строка из его давнего незавершённого произведения:

«И в опустевшее поле выбегает серый скакун без седока...»

...Я до сих пор считаю, что Айтматов испарился, превратился в белое облако, ушёл куда-то в неизвестность и не вернулся больше.

Он вознёсся на небо, куда так часто устремлял свой взор, а белый его скакун выбежал в опустевшее и осиротевшее поле уже без седока... Слышно только пронзительное ржанье коня, затем наступает полная тишина, и опять раздаётся ржанье, уходящее вдаль, отдающееся эхом и медленно растворяющееся в бесконечности времени и эфире пространства...

АЙТМАТОВ И ЭПОС «МАНАС»

В одном из своих интервью «Литературной газете» Чингиз Айтматов признавался, что плачет, когда читает «Манас». На вопрос: «Значит, “Манас” и сейчас жив и продолжает волновать современных киргизов?» — знаменитый писатель ответил: «Если живы мои слёзы, то жив, наверное, и наш эпос». А однажды сравнил «Манас» с Библией, назвал его вершиной национального духа. В одной беседе с автором этих строк он сказал, что в эпосе воплощена, не больше и не меньше, киргизская национальная идея.

Действительно, «Манас» с его феерической чередой героических деяний и человеческих трагедий, описанных с мощной художественной силой, не только всемирного значения *памятник* культуры и духа, но произведение живое и современное. «Манас» для киргизов — пророческое слово, в котором закодировано нечто такое, что и сейчас поражает своей глубиной и актуальностью содержания.

В первые же годы суверенитета, в самую трудную пору реформ, когда остро встал вопрос о национальном единстве всех киргизстанцев, в том числе самих киргизов, о «Манасе», следом за Айтматовым, вспомнили и все мы. Стало как-то пронзительно ясно, что в основе идеологического строительства независимого Киргизстана должны лежать великие свободолюбивые, интеграционные идеи старинного эпоса, идеи всеобщего единения и братства. Вспомнили и о жарких спорах о времени создания «Манаса», о его историческом возрасте. Вспомнили о крайне противоречивом отношении советской власти к великому национальному наследию киргизов, о том, что практически все, кто так или иначе имел отношение к изданию эпоса, его переводу на русский язык, его популяризации, не избежали молоха сталинских репрессий и были либо расстреляны, либо отправлены в тюрьму. Не было забыто и то, что именно «Манас» способствовал подъёму духа народа. Когда Германия напала на СССР, воины-киргизы вспомнили о великих предках.

И вот интересная тема — воздействие великого киргизского эпоса на художественное сознание автора «Когда падают горы (Вечная невеста)». Исследователи спорят, откуда у Айтматова эти мотивы античного рока, предощущение «конца света», этот, говоря по Фрейду, инстинкт смерти, ощущение безысходности, в то же время такой мощный всепобеждающий пафос жизни? Да, это он сказал: «За всё в жизни есть расплата, как за

жизнь есть расплата смертью». Мысль о смерти его преследовала издавна, будоражила пламенную, глубоко израненную с детства душу и никогда не покидала; мощный порыв к жизни сосуществовал с инстинктом смерти, обострённым чувством конечности века человеческого.

Многие, возможно, не согласятся, но я глубоко убеждён, что истоки подобного мироотношения лежат в нашей национальной культуре, сформированной, в свою очередь, сложной и в общем-то трагической историей; они лежат в «Манасе». Это не столько героический эпос, как мы привыкли его называть, сколько трагическое сказание о подвижнической борьбе и смерти Манаса Великодушного, чья семья спаслась от полного истребления самими же киргизами бегством в Бухару, и чья династия, Семетей и сын Сейтек, повторила тот же путь героического подъёма и столь же трагического падения, что и сам Манас, основатель объединённых, соборных киргизов.

Я это называю Большой парадигмой «Манаса», которая составляет идейно-сюжетную доминанту эпоса. Параллель здесь, быть может, не очень уместна, но не стоит забывать, что и семейство Айтматовых также спаслось бегством, покинув Москву и укрывшись в глухой киргизской деревне, где чудом и выжило. Эта парадигма как будто подтверждена и нашей новейшей историей, периодом суверенитета, двухкратным ярким всполохом надежд, всколыхнувшим народные массы, и их крушением.

Ну а если бросить даже беглый взгляд на всех тех великих киргизов, чьи имена у всех на устах, мы услышим столько арманов, кошоков, трагических мотивов, что в ушах звенит. Я это называю неизбывной киргизской грустью, которая была и осталась стержнем нашего национального самосознания, нашей устной литературы, да и письменной тоже. Таков и великий Токтогул, таковы все знаменитые заманисты от Арстанбека до Ысака Шайбекова, включая Калыгула-прорицателя, таково большинство наших малых эпосов («Курманбек», «Кожоджаш», «Эр Табылды», «Эр Тоштюк»), Впрочем, киргизская грусть — достаточно серьёзная тема и о ней нужно рассуждать отдельно и в пределах другого повествования.

История киргизской литературы XX века со всей красноречивостью свидетельствует: эпос «Манас» всегда оказывался в центре внимания, как только киргизский народ переживал очередной поворотный период в своём развитии. Да, «Манас» духовно поддерживал киргизов и в лучшие, и в худшие дни. Так было в 1920—1930-е годы XX века, когда страна от кочевой и полукочевой жизни переходила к оседлости, когда происходили непростые процессы национальной самоидентификации уже под властью

Советов. Так было в годы войны 1941—1945 годов, когда киргизстанцы сражались с немецкими захватчиками, когда отвагу и смелость многие черпали из великого эпоса. Так получилось и в исторический период становления и развития национальной государственности в 1990-х годах XX века, в труднейший период социально-политического перелома.

Образ Манаса Великодушного действительно стал в те дни мощной духовной опорой, заставлял думать о стране, единстве народа, дружбе между народами.

Чингиз Айтматов практически всю жизнь размышлял о великом киргизском эпосе. Его хрестоматийно известная статья «Манас» — сияющая вершина национального духа киргизов» по сей день остаётся одной из самых глубоких работ. Главная мысль в ней заключалась в том, что «Манас» кроме всего прочего — это главный вклад киргизов в сокровищницу мировой культуры. Он всегда подчёркивал, что если бы в «Манасе» не было заключено живое содержание для тех, кто его хранил, слушал и переживал, эпос едва ли смог бы дойти до наших дней в таком полновзвучном и многовариантном виде. Анализируя его высказывания и статьи об эпосе, приходишь к выводу, что грандиозное сказание — это и тайна, в которой закодированы историческая судьба и путь киргизов, и открытый текст. В «Манасе» оказалась зашифрованной наша многовековая историческая жизнь, да и сокрыта некоторая тайна, обнаруживаемая только при внимательном и вдумчивом чтении. Чтобы это понять, нужно вернуться к тому, о чём повествует эпос с таким колоссальным подъёмом и неизбежным надрывом.

Вспомним содержание героического эпоса. Это повествование о борьбе народа, к которому принадлежал Манас, с китайцами и калмыками за свои земли и свободу, а также о переселении киргизов из Алтая на земли современного Киргизстана. В заключительных эпизодах грандиозного поэтического сказания описаны так называемый Великий поход против китайцев, потрясающие батальные сцены, а также гибель Манаса и его легендарных сподвижников на поле сражения и последовавшая за ней длительная деградация киргизского народа. Потрясают сцены гибели героев, тайные похороны Манаса в неприступных горах Ала-тоо, бегство его матери и жены с шестимесячным сыном Семетеем из легендарного Таласа, где обосновалась ханская орда основателя рода киргизского. Поведано всё это с колоссальной художественной силой и глубоким трагизмом. Такой трагизм можно встретить разве что в «Реквиеме» Моцарта или в похоронном марше знаменитой Героической симфонии Бетховена. Поэтому нетрудно представить плачущего при чтении эпоса

Чингиза Айтматова...

Суть «Манаса» лучше всего отражена в его кольцевом сюжете, в той модели понимания истории как бесконечной череды жизни и смерти, рождения и гибели. Киргизский эпос, охватывающий героические деяния и гибель целых поколений людей, отличающийся огромной плотностью событий, происшествий, человеческих чувств, возвышенной любви, является наиболее широким отражением исторического опыта и художественной фантазии киргизского народа. Именно эта сторона эпоса более всего и привлекала Айтматова, который примерно в том же духе размышлял об истории, о человеческой судьбе, смене поколений.

И вообще трагизм его мировоззрения следует объяснять тем сильным влиянием, которое на него оказало раннее приобщение к «Манасу». Одним из его кумиров в Киргизстане был великий сказитель эпоса Саякбай Каралаев. Айтматов с ним одно время жил по соседству, потом ездил вместе в Москву, за границу, и где бы ни выступали они, писатель пояснял аудитории суть сказительского искусства, не скрывая при этом восхищения гениальным даром Каралаева, который в своём исполнении доводил эпос до поистине шекспировского уровня страстей. На торжествах по случаю 1000-летия «Манаса» Чингиз Айтматов выступил с докладом, в котором он ещё раз вслух размышлял об этом грандиозном творении народного гения.

По его мысли, после гибели Манаса, его наследников и идейных последователей киргизы так и не смогли в течение длительного времени реально объединиться, сохранить государственность, обеспечить преемственность исторического развития. Причиной тому стала новая реальность, с которой переселившиеся с Алтая киргизы столкнулись ещё в древности. Обширный, не рассечённый на изолированные территории высокими горами Алтай и южная Сибирь — историческая родина киргизов — благоприятствовали их государственному и этническому единству. Живые связи между людьми осуществлялись легко и этногенез киргизов происходил на благодатной почве.

Но сложные географические условия Тянь-Шаньских гор и Памиро-Алая, куда переселились исторические киргизы, своими жёстко поделёнными на изолированные территории высокими горными хребтами, затруднявшими налаживание устойчивых связей между племенами и мелкими ханствами, не всегда позволяли жить во взаимосвязанном сообществе. Идея единого государства, да и в целом дальнейший этнический политогенез киргизов оказались в наименее выгодных для этого условиях.

Конечно, строго говоря, «Манас» — это явление художественное, и

искать в нём рецепты для нынешней нашей жизни по меньшей мере наивно. Об этом говорил и Айтматов. Но именно в годы независимости, после 1000-летия «Манаса», стало ясно, что в этом гениальном эпосе кроме чистой литературы и высокой поэзии скрыт некий смысловой пласт, этнокультурный код, привнесённый временем и его сказителями, которые пытались хотя бы косвенно повлиять на киргизов и их правителей. В этом смысле эпос оказался неким национальным духовным завещанием, пророческим предупреждением, пренебрежение которым чревато самыми плачевными последствиями для киргизского народа, его единства, духовного здоровья, сохранения национальной государственности.

Поэтому айтматовская мысль о том, что «Манас» в определённом смысле и есть киргизская народная идея о сбережении и защите нашей земли от внешних врагов, от внутренних распрей, представляется в высшей степени плодотворной. Действительно, смысловой пласт, язык метафор и многозначных силлогизмов эпоса невольно наталкивают на размышления о жизни и судьбе древних киргизов, заставляя глубоко задуматься и о путях развития современного киргизского общества, нашей государственности. При высокой роли киргизской национальной элиты статус современной национальной государственности достался нам в конце XX века во многом по воле судьбы. Но когда застарелые болезни вновь дают о себе знать, когда возникают рецидивы регионализма и трайбализма, которые открыто поощряются политиками-популистами, поневоле задумываешься о прошлом, о пророчествах, заключённых в таких нетленных хранилищах национального духа и исторического опыта, как «Манас», а также других великих и малых эпосах, легендах и мифах.

Новые поколения киргизов наизусть знают семь заветов Манаса, и это не может не радовать. Но факт состоит и в том, что суверенный Киргизстан дважды пережил государственный переворот, дважды мы столкнулись с межэтническими конфликтами, которые унесли сотни жизней. Нет никакой гарантии, что всё это не повторится вновь. Отсюда и вопрос: читаем ли мы «Манас» правильно и сможем ли извлечь уроки из собственной истории, чтобы страна смогла занять достойное место в мировом сообществе?

Это очень большой вопрос. У него, заметим, почти тысячелетний возраст. Им задавались ещё во времена Манаса, а после — все наши более или менее мыслящие предки. Этим вопросом задавались, когда отмечали 1000-летие великого эпоса. Этим вопросом задавался и Чингиз Айтматов, когда размышлял о нём.

АЙТМАТОВ И ТЮРКСКИЙ МИР

Начало нового тысячелетия уже входит в историю под безусловным знаком глобализации, новых интеграционных процессов, бурного развития информационных технологий, международного бизнеса, который становится всё более экстерриториальным и наднациональным. В то же время современный мир сталкивается с целым рядом новых вызовов, ответы на которые требуют совместных усилий, консолидации средств и ресурсов.

Чингиз Айтматов как писатель и как политик живо интересовался всеми этими вопросами, высказывался публично, и с его мнением считались очень многие.

Среди этих разнообразных вопросов мировой геополитики его особо интересовала судьба постсоветской Центральной Азии и Казахстана, а также Турции, в целом — всего тюркского мира. Тюркская культурно-духовная ойкумена, этнокультурные границы которой пролегают через три континента, всегда оставалась для него близка и понятна. Он не был пантюркистом или человеком ортодоксальных этнополитических взглядов. Этнократия для него была глубоко чужда. Но народы Центральной Азии, в частности, пяти постсоветских республик он всегда считал единым неразрывным сообществом. Алма-Ата и Ташкент для него были родными городами, в которых жило множество его друзей и поклонников. Впрочем, как и в Ашхабаде, и Душанбе. Мирзо Турсун-заде был его близким другом, а туркменских кинематографистов, особенно замечательного режиссёра Ходжакули Нарлиева и актрису Аймедову, Айтматов по-настоящему ценил.

Особое место в его сердце занимала Турция. Он зачарованно вглядывался в культурный и политический пейзаж, сформировавшийся на границе Востока и Запада. В стране Ататюрка Айтматов видел приметы того пути, которым могли бы пойти и постсоветские страны Центральной Азии. Это знали турки и отвечали взаимностью.

Каждая поездка в Анкару и Стамбул превращалась для него в праздник души и радость встречи с миллионами поклонников его таланта. Турция стала для него местом соединения любимой Европы и родного исламского Востока. А турки действительно его обожали, ещё при жизни устанавливая памятники и переименовывая в его честь парки и улицы. В Турции издавали и переиздавали Айтматова миллионными тиражами, а первое

собрание сочинений писателя увидело свет именно там. По книгам Айтматова снимали фильмы, его творчество изучали, по нему писали и до сих пор пишут диссертации и монографии.

Чем объяснить столь пристальный интерес и глубоко почтительное отношение к Айтматову во всём тюркском мире, особенно в Турции? Никто из его выходцев не достиг такой славы и такого всемирного признания. Он был общей гордостью, неким общетюркским символом, хотя, подчеркну ещё раз, масштабы мышления киргизского писателя выходили далеко за пределы какого-то одного ареала. Он считал себя гражданином всего мира, а отнюдь не только тюркского.

При этом он, разумеется, осознавал, что этот этнос стоит на плечах гигантов, гениев духа и мысли, таких как Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари, Юнус Эмре и Ходжа Ахмет-Яссави, Алишер Навои и Насими. Особенно значительный интеллектуальный и духовный вклад в развитие тюркского мира внесли многие выдающиеся просветители и подвижники XIX века, целый ряд первоклассных поэтов и писателей.

Распад СССР и появление на политической карте земного шара новых центральноазиатских государств открыли перед этим миром невиданные прежде перспективы. Регулярные встречи лидеров тюркских государств, смелые шаги по экономическому и культурному сотрудничеству, создание благоприятных условий для взаимных контактов, совместные исследовательские проекты, налаживание интенсивной транспортной коммуникации и общение между деятелями культуры — всё это происходило при жизни Айтматова и почти всегда с его участием.

Существует твёрдое мнение, что в мире, где возрождаются неоимперские амбиции, где религиозный экстремизм и террор далеко не побеждены, где новые геополитические тренды заставляют думать о спокойствии и международной стабильности, о государственном суверенитете и необходимости его укрепления, общетюркское единство может сыграть важнейшую роль для тюркских народов, да и не только для них.

В последние годы жизни Чингиз Торекулович много размышлял о постсоветской Центральной Азии, которая фактически стала заложником экономического эгоизма, политически разрозненной, как никогда. Он много думал и с беспокойством говорил о зачаточной дипломатии, неготовности стран региона к взаимоприемлемым решениям вопросов безопасности, демаркации границ, паспортного контроля. Казалось бы, страны Центральной Азии, по естественной логике вещей, должны быть в одном союзе или хотя бы в одной геополитической связке, но этого никак не

получалось. В условиях единого СССР этого абсолютно не чувствовалось, но совсем иная ситуация сложилась после конца Союза. Ведь постсоветская Центральная Азия — геополитическая ось всего тюркского мира — была и остаётся глубоко разобщённой. К сожалению, такого рода сепаратистские тенденции в регионе только усиливаются, а культурное сотрудничество фактически заморожено. В результате проигрывают народы, растёт взаимное отчуждение.

«Неужели мы, современные центральноазиаты, живя на одной земле, будучи наследниками одной уникальной цивилизации, принадлежа к одной и той же религии, имея общие проблемы строительства новой государственности, в XXI веке будем жить врозь, будем решать общерегиональные проблемы врозь?» — вопрошал в одном из выступлений Айтматов, мечтавший видеть регион единым, где все вопросы межгосударственного общения решаются путём диалога и братского взаимопонимания.

Чингиз Айтматов предупреждал, что стремление к изоляции, закрытость — это участь отсталых регионов, но передовые, экономически развитые страны, наоборот, делают всё, чтобы открыть границы, способствовать межгосударственной торговле, культурному диалогу. Как показывает мировая практика, именно в дезинтегрированных регионах мира чаще всего и возникают разного рода конфликты, даже затяжные локальные войны, которые ещё больше отбрасывают народы назад — экономически, социально, культурно.

В диалоге с автором этих строк Айтматов напомнил, что Европа многие века была раздираема глубокими противоречиями, которые не раз заканчивались кровопролитными войнами и перекраиванием границ. Взять времена Талейрана и Меттерниха, когда интриги и амбиции политиков порождали множество противостоящих друг другу союзов. Счастье Европы второй половины XX века состояло в том, что появились мощные политические авторитеты в лице Черчилля и де Голля, заложившие фундамент общеевропейского дома.

Все эти факты и тенденции, развивал свою мысль Айтматов, говорят о том, что перед тюркским миром стоит очень много проблем, которые нуждаются в решении и дипломатических усилиях, иначе неизбежно дальнейшее взаимоотчуждение. И он приводил в пример Европу, где сотрудничество и тесная интеграция буквально спасают Старый свет от новых войн и конфликтов.

Ещё один очень важный вопрос: как относился Чингиз Айтматов к исламу? Вообще-то, при всём своём интересе к религии (вспомнить хоть

интеллектуальный поединок Иисуса и Понтия Пилата в «Плахе»), он особо на эту тему не распространялся. Куда больше его волновало явление международного терроризма, замешенного на религиозном радикализме. Вот его он открыто осуждал, призывая «действовать шире, смотреть в корень вещей — как ликвидировать базу терроризма, эту пагубу средневекового религиозного экстремизма. И долг добрососедства обяжет нас, — говорил он, — если понадобится, противостоять этой и любой другой опасности плечом к плечу с узбеками, таджиками, казахами, туркменами, ибо мир у них — это мир и в общем Туркестанском Доме, ибо терроризм даже в его локальном проявлении есть враг всеобщий для всех, везде и всюду. Терроризм — это та эпидемия, возникновение которой требует немедленного, коллективного, радикального противодействия, т. е. борьбы на полное избавление от неё».

Будучи сторонником совершенно светских взглядов, хотя и не атеистом, Чингиз Торекулович не скрывал своего глубоко уважительного отношения к христианской культуре, в целом к европейской цивилизации, читал и перечитывал Библию, христианские апокрифы. Мне кажется, он был рождён европейцем, человеком свободным от любых догм, предрассудков.

Вообще, Чингиз Торекулович очень опасался конфликтов между странами Центральной Азии. Эти опасения у него особенно обострились после кровопролитных Ошских (Узгенских) событий 1990 года, когда он лично, по поручению Президента СССР Горбачёва прилетел в Андижан, потом в Ош, занимаясь умиротворением конфликтующих сторон. Его сильно встревожила серия взрывов в Ташкенте весной 1998 года, захват заложников и вооружённый конфликт в Баткенском и Чон-Алайском районах юга Киргизстана, таджикская война, унёсшая десятки тысяч жизней. Ташкентские взрывы и по замыслу, и по масштабу были крайне дерзкими. Получив жёсткий отпор от властей Узбекистана, террористы проникли в Киргизстан, нарушив наши южные границы, взяв в заложники местных жителей, а также японских геологов, и выдвинув два требования: деньги и свободный проход в Узбекистан для вооружённой борьбы против законных властей соседней страны. Речь шла о якобы священной войне, о так называемом джихаде против правительства Узбекистана. Разумеется, такой преступный ультиматум киргизское правительство никак не могло принять. Пришлось грудью защищать границы, закрывать все возможные лазейки, чтобы бандиты не прорвались к соседям. Погибли люди.

Видя будущее Киргизстана в тесном сотрудничестве с Россией, неустанно это повторяя, Айтматов в то же время испытывал нарастающую

тревогу, связанную с возрождающимся национализмом, региональным соперничеством, и как следствие, экономическим эгоизмом. «Пора чётко и недвусмысленно заявить, — предупреждал писатель, размышляя о растущем отчуждении тюркских народов, — что это очень контрпродуктивная, даже опасная тенденция. Рано или поздно эти усилия закрыться глухой стеной от соседей в буквальном и переносном смысле слова будут осмеяны и оставлены на пепелище истории, но от этого нынешним поколениям никак не легче. Нельзя заставлять отчуждаться братьев, это безнравственно. Нельзя заставлять их общаться друг с другом, обходя кордоны, блокпосты и прочие свидетельства нашей политической близорукости. Нужно исходить из того понимания вещей, что в безопасности мы будем только вместе в нашем регионе и альтернативы этому просто не существует».

Говоря о взглядах Чингиза Айтматова на региональное сотрудничество, нужно особо отметить, что он всегда был дорогим гостем и желанным собеседником почти всех лидеров региона. Особенно близкие отношения связывали его с Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым. С последним он реализовал проект Культурной Ассамблеи народов Центральной Азии. Об одной из встреч с Исламом Абдуганиевичем он рассказывал так: «Я вспоминаю идею президента Ислама Каримова о Туркестанском доме, уже существует Туркестанская культурная ассамблея или, как мы её именуем, Ассамблея культур народов Центральной Азии со штаб-квартирой в Ташкенте. Стало быть, какие-то подвижки, намётки существуют, только их надо до разумного максимума расширить, чётко определив ответственности. Возможно, мы только сейчас созрели морально и психологически для практической реализации этой идеи. В следующем веке идея центральноазиатского единения на равноправной, взаимовыгодной основе, на основе идентичности культур и секуляризма, общих интересов региональной безопасности должна стать межнационально-приоритетной. Над этим благородным делом должны работать кроме политиков дипломаты, деятели культуры, учёные, экономисты, передовая молодёжь».

Одним словом, вклад Чингиза Торекуловича в культурно-экономическую интеграцию народов тюркского мира очень значителен. Во всех крупных проектах и культурных мероприятиях он был неизменным участником и желанным гостем. ТЮРСКОЙ, ТІКА, Тюркская академия в Астане, Туркестанская культурная ассамблея в Ташкенте, ряд других межгосударственных организаций появлялись не без вдохновляющего слова Айтматова.

В вышеупомянутом диалоге с писателем я ему задал такой вопрос: «Что нас, центральноазиатов, ждёт в следующем веке, в обозримом будущем? Как наилучшим образом организовывать нашу совместную жизнь, чтобы наши дети, новые поколения жили в безопасном, экономически процветающем регионе?»

Ответ Чингиза Торекуловича прозвучал так: «Для меня естественно и привычно воспринимать весь наш регион как судьбой predetermined нам обитель и как конечный причал моих вольных и невольных передвижений по миру. Поэтому моё мнение однозначно: нам надо объединиться в макромасштабах. И не на словах, а на деле. Мы должны быть системно объединёнными на практике, когда такого рода задачи воспринимаются на единой арене всего региона.

Да, каждое государство вольно делать всё, что ему нужно и что сообразуется с какими-то его внутренними потребностями и интересами. Это должно быть уважено, конечно, остальными. Но никоим образом нельзя чинить преграды на пути выстраданных тысячелетних взаимоконтактов, как ты выразился, центральноазиатов, где люди взаимосвязаны бесчисленными нитями родственности, общей религии, культуры и языка, торговли и коммуникаций. Экономическую интеграцию, промышленную кооперацию, торговое сотрудничество необходимо сдвинуть с мёртвой точки во имя нашего общего выживания и развития всех нас».

Анализируя взгляды Чингиза Торекуловича, невозможно отделаться от мысли, что в делах межгосударственного сотрудничества он как был, так и остался романтиком. Например, утверждал, что между соседями не должно быть никаких пограничных постов. «Я много думал о ташкентских взрывах, о событиях в Баткене и Алае. Переживал и переживаю. И поневоле сопоставлял нашу систему безопасности с европейской. В Европе сумели извлечь уроки из истории — все вопросы континентальной торговли, экономической кооперации, даже глобальные дела решаются только на коллективной основе, на основе консенсуса. Они поняли, что отсутствие именно этого в прошлом превращало континент в постоянный источник конфликтов, войн, в том числе двух мировых. Для меня совершенно ясно: к современному опыту Европы нам следует приглядываться самым внимательным образом и идти по пути теснейшей региональной кооперации.

Думаю, что в свете ташкентских и баткенских событий назрел вопрос о создании объединённых вооружённых формирований Туркестана или Центральной Азии по противостоянию хотя бы терроризму, по

обеспечению безопасности наших границ. Это для меня совершенно очевидно».

Он осознавал, что в этих вопросах очень многое зависит от глав государств, от глубины их понимания идущих в регионе процессов и адекватной оценки возможных перспектив. Он также отдавал себе отчёт в том, что узкокорыстная власть может отодвинуть в тень более широкие общерегиональные интересы.

К сожалению, то, что было очевидно Чингизу Торекуловичу, далеко не столь очевидно нынешним политикам и руководителям государств.

КРЕСТ И ПЛАХА

Айтматов как последний писатель империи

В этой книге неоднократно подчёркивалось, что Чингиз Айтматов как писатель, как гражданин и личность — детище советской эпохи. Да, он её любил, но и жёстко критиковал. Потому что было за что хвалить, чем гордиться, быть глубоко благодарным, но и за что ругать. Но развал СССР как единого государства оказался выше — или хуже — всех его ожиданий и видений. И он стал живым свидетелем, если не соучастником этого грандиозного распада. Нельзя сказать, что он воспринимался писателем как личная трагедия, но издержки этого процесса именно для него были очень чувствительными, если не сказать болезненными — он потерял свою огромную читательскую аудиторию, или, как минимум, она стала намного отдалённое и отчуждённое, чем прежде.

Первые пять лет он был полон скепсиса, разочарования, сомнений. Эти новые государства ему показались не очень удачными политическими игрищами, плохо срежиссированными спектаклями. Новые выражения типа «ближнее зарубежье», «дальнее зарубежье» и особенно СНГ — Содружество Независимых Государств вместо СССР — резали его слух. И почти ничего, что творилось в этих новых государствах, не приводило в восторг. Его суждения об историческом процессе, о прогрессе в обществе в сознании людей стали ещё более пессимистичными. Да и прийти к другому умозаключению не было причин — всюду торжествовал эгоизм — и человеческий, и национальный; расцветала клептомания, везде ощущалась наступившая духовная деградация и потеря всяческих нравственных ориентиров. Рушились прежние устоявшиеся представления о жизни и мире; как бы падали поднебесные горы, прежде казавшиеся такими незыблемыми и вечными. И он не мог не чувствовать, что отныне весь в этом уходящем прошлом. В советском прошлом. Айтматов 1990-х воспринимался как человек другой эпохи, уходящей истории. Во вновь зарождающемся мире и обществе он предстал как живой экспонат истории, памятник во плоти. Думается, тогда он ещё раз понял, что это его Крест, его судьба и Плаха.

Став депутатом нового киргизского парламента, он не смог проявить

ни активности, ни внести какую-либо новизну в его работу. Когда второй раз проводились выборы, он мудро отказался быть членом этого представительского органа. И надолго осел, с помощью и поддержкой Аскара Акаева, первого президента суверенного Киргизстана, в Европе.

Как показала жизнь, он после развала Союза долго не мог взяться за сколько-нибудь крупное произведение, а дописывать то, что он когда-то начинал, ему уже не хотелось. Новое не рождалось. Его голос публициста почти потух. И по самой естественной логике вещей он стал аксакалом, ветераном культуры и политики, крупным историческим персонажем. То есть человеком, который был весьма значимым, но теперь остался без прежнего поприща.

Я вспоминаю, как в начале бурных 1990-х он открыто говорил и сетовал, что век книги, век литературы закончился. Признаться, и я в определённой мере разделял его взгляды, хотя был убеждён в том, что в данном контексте Айтматов всё равно некоторое исключение, без него киргизам в любом исходе не обойтись, без его книг ни воспитать детей, ни построить новую культуру. Что и получилось.

Таким образом, гибель СССР, крах огромной евразийской империи, которая и вынесла Айтматова на своих мощных крыльях на широчайшие мировые просторы, писатель переживал очень болезненно, о чём так эмоционально и с чувством безысходности потом написал в своём прощальном романе «Когда падают горы (Вечная невеста)». Хорошо было бы именно его назвать «Плахой», хотя такое заглавие предпослано одноимённому роману писателя 1986 года.

Почему? Потому что ценности поменялись, привычный мир вещей и понятий изменился, изменились и люди, а новая эпоха фактически приготовила для своих же детей, особенно для представителей советской интеллигенции, лобное место, некую плаху, нравственный эшафот. Прежний огромный и бескрайний мир, в котором они столь свободно и вольготно себя чувствовали, сузился до размера небольшой республики, на карте очень похожей на осколок чего-то цельного и крепкого. А пришедшая с новыми режимами рыночная система, проще говоря, капитализм, не была их системой, более того, она была им глубоко чужда, о чём с такой тревогой, даже обречённостью написано в вышеназванном айтматовском прощальном романе.

В переживаниях Чингиза Торекуловича постсоветских лет не было ничего субъективно-эмоционального. Речь шла куда о более серьёзных материях и ценностях. Для него, как и для миллионов людей и внутри страны, и за её пределами, распад СССР означал крушение очень многих

социальных, политических и духовных иллюзий и надежд. Это была не самая лучшая система в мире, но она очень многое успела сделать опять же во благо людей, их личностного развития, социальных устремлений. Вот только научно-культурная элита страны 1980-х захотела иной судьбы и иного образа жизни. Она была глубоко убеждена в благотворности западного, рыночного пути, который привёл бы к «храму», если вспомнить символические слова из знаменитого фильма Т. Абуладзе «Покаяние».

И всё же с Чингизом Торекуловичем дело обстояло куда серьёзнее и сложнее. Разделяя ценности либерализма и демократии, он в то же время являлся типичным советским писателем. По масштабам мышления и художественных обобщений он был писателем империи. И когда её в конце концов не стало, он собрался с мыслями и решил написать роман-плач, роман-эпитафию, где падение советской державы показано как некий апокалипсис, воплощение злого рока, всемирная и личная трагедия. Мне кажется, что драма Айтматова-человека и писателя состояла в том, что он так и не принял новое общество, за которое как бы ратовал, не смог порвать со своим советским прошлым. Историческая, мировоззренческая амбивалентность стала его личной и общественной судьбой. Она началась ещё в детские годы, а продолжалась вплоть до его кончины. Примирить эту духовную разорванность и преодолеть многолетний морально-этический, философский дуализм ему было не суждено. Кажется мне, что этот исторический дуализм и сейчас не удаётся преодолеть многим и многим людям, жившим в Советском Союзе, выжившим в новых условиях, но так и не принявшим его моральные ценности и поведенческие стереотипы.

Автор «Плахи» никогда прежде не вводил в структуру своих художественных творений образы политиков, но для Горбачёва он сделал своеобразное исключение: в романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» Айтматов упоминает Михаила Сергеевича, с которым Арсен Саманчин, главный герой романа, журналист и киносценарист, состоял в якобы дружеских отношениях и «летал в одной стае перестройщиков».

Примечательно, что вопреки желанию автора писать обо всём как бы остранённо, текст получился достаточно личным. Введя в роман имя Горбачёва, Айтматов косвенно указал и на себя как на активного участника перестроечных процессов. Увы! Ни политика, в которую он окунулся с головой с надеждой на лучшее, ни перемены, обещавшие много важного и интересного, не принесли удовлетворения и не наполнили жизнь новым смыслом. В конце концов Арсен трагически гибнет.

Это было достаточно странное, даже спорное художественное решение. Почему герой должен был погибнуть? Почему писатель для

героя, воспринимаемого как своего двойника, не смог предложить иную судьбу, кроме смерти и падения? Между тем мы, его читатели, хорошо помним: Дюйшен, первый учитель, всё-таки не погиб, несмотря на невероятные трудности, не сгинул и Танабай Бакасов, то же самое произошло с Едигеем, даже с верблюдом Каранаром и волком Ташчайнаром. Но Арсен погиб. Лёг на свою плаху. Что это значило для писателя, что он хотел этим сказать — вопрос. Может, хотел показать, что для человека исчезнувшей цивилизации, канувшей в Лету исторической эпохи смерть лучшая и естественная доля? Может быть, это именно та экзистенциальная дилемма, которая никогда не отпускала Айтматова-писателя и которая таким образом себя обозначила.

...Молва приписывает Владимиру Путину слова о том, что те, кто не жалеет о распаде СССР, не имеют сердца, а кто хочет его вернуть — головы. Эти слова очень глубокие и правильные, хотя трудно согласиться, с тем, что крушение СССР — величайшая катастрофа XX века. Конечно, это не так. Величайшей катастрофой минувшего столетия были две мировые войны, особенно вторая, когда погибло более 50 миллионов людей, превратились в руины десятки городов и сотни населённых пунктов. Что касается крушения советской империи, то оно ничем не отличалось от постепенного заката, а потом и развала всех известных нам империй. Так канула в Лету Оттоманская империя, до неё — империя монголов, в XX веке — британская. Стремление к свободе и национальной независимости — желание извечное, неистребимое, фундаментальное. Поэтому распад Союза был исторически неизбежен, как неизбежны и последовавшие за ним процессы. Прав был ещё Никита Хрущёв, в одном частном разговоре обронивший мысль о том, что в Советском Союзе построили не совсем социализм, «а вот настоящий социализм тот, который у себя построили шведы».

Чингиз Торекулович не громко, но всё же жалея о распаде Союза, постепенно пришёл к пониманию того, что события конца 1980-х — начала 1990-х были вовсе не результат горбачёвской политики перестройки и гласности. Нет, это был, как ни странно звучит, логический итог всех предшествующих десятилетий. Союз проводил колоссальную работу по образованию малых и больших народов страны в течение семидесяти лет, но итогом стало общее желание попробовать пожить самостоятельно. Фигурально выражаясь, дети в семье повзрослели, им дали всё необходимое для самостоятельной жизни и они решили отселиться.

Словом, Чингиз Айтматов последних лет жизни был тем писателем, у которого отняли все темы. Нет, перо и письменный стол у него остались, но

он был в своём роде выброшенным на берег пушкинским певцом. Он был тем, кто мог сказать о себе:

...Вдруг лоно волн
Измял с налёту вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Айтматов и вправду не знал, как себя вести, что сказать или о чём писать. С одной стороны он, как писатель и общественный деятель эпохи перестройки, никогда не жалел красок и всегда находил соответствующие метафоры и образы, чтобы вскрыть язвы советского общества, но отнюдь не принадлежал к числу тех, кто мечтал о крахе страны или содействовал ему. Однако что получилось в результате вполне благоразумных перестроечных процессов, он увидел своими глазами.

Строительство нового киргизского государства, в возможности существования которого он очень серьёзно сомневался в первые несколько лет, оказалось очень трудной задачей. Люди долго не могли порвать с прошлым, со старыми привычками и стереотипами, а новое приживалось крайне болезненно. Теперь всё кажется далёким, страсти и нешуточные коллизии тех лет лишились былой остроты и драматизма, но метаморфозы «лихих 1990-х» не могли не поражать воображение.

Как известно, любая история — не мостовая Невского проспекта, и история независимости Киргизстана — не исключение. Было тут всё. И массовая бедность, и коррупция, и государственные перевороты. Чингиз Айтматов всё это видел собственными глазами. Но пережито было то, что называется большой историей, которую не удастся ни улучшить, ни поправить, ни тем более переписать. Приходится принять её такой, какая она есть, извлекая, конечно, уроки, проявляя здоровый критицизм и в то же время не забывая, что обретение независимости стало для соотечественников Чингиза Торекуловича очень трудным испытанием.

А он видел, как вчерашние первые лица республик эволюционируют в

новых условиях, переживая самые поразительные превращения — от средневековых диктаторов до воров и коррупционеров, каких столетия не видали... Чего стоит один только феномен Сапармурада Туркменбаши. Туркмены избавились от него только благодаря всевышнему. Лицемерные и двоедушные вчерашние руководители Центральной Азии, сегодня уже «лидеры наций», «отцы народов» (всё-таки подсознательный архетип прошлого нашёл себе реальное воплощение), убеждённые в своей непререкаемости и «величии», навряд ли отдадут единоличную власть добровольно, разве что в иной мир перейдут.

Как реагировала на всё это литература? Если иметь в виду киргизскую, то она долго не могла отойти от постперестроечного шока. Как и Айтматов, абсолютное большинство писателей оказались неготовыми к художественному обобщению и осмыслению происходящего. Все были настороже. «Ассенизаторов и водовозов» государственной независимости из числа писателей и поэтов не нашлось. Многим вообще трудно было сориентироваться в складывавшейся ситуации, понять смысл и значение изменений. Но в одном все или почти все оказались едины — в нежелании примириться с тем, что печатать книги за государственный счёт и получать за это соответствующее вознаграждение больше не получится. Новая система не дотировала издания, тем более не платила деньги за литературное творчество из казны. И этого не получилось бы в любом случае, потому что страна погрузилась в глубокий экономический кризис.

Журналы и газеты перестали выходить или выходили намного реже, с перебоями. Многие писатели вообще оставили литературное творчество, поскольку зарабатывать на нём уже не было возможности. В результате оказался подорванным весь литературный процесс, почти исчезла со страниц газет литературная критика, перестали защищаться диссертации по литературоведению. Научная деятельность филологов начала оживать только после открытия новых университетов.

В таком контексте весьма знаменательным стало появление нового романа Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)». Это само по себе оказалось доброй приметой, хорошим знаком, означавшим оживление литературы. Роман значил собой как бы первый подступ к освоению нового жизненного материала, о котором многие воздерживались писать. И первым абзацем стало рассуждение писателя о судьбе как о свыше предписанном испытании. Но об этом в следующей главе.

ТЕНЬ КАССАНДРЫ

Последние дни патриарха

Учёные утверждают, что у динозавров, несмотря на гигантские размеры, выживаемость оказалась почти ничтожной в условиях изменившегося климата Земли. То же самое произошло и с огромными мамонтами, парадоксально отличавшимися достаточно хрупким здоровьем. Их убило как биологический вид прежде всего наступление холода, начало ледникового периода. А священная весна, вдохновившая, кстати, на создание одноимённого балета Игоря Стравинского, великого реформатора музыки XX века, наступила много тысячелетий после. Но это уже была весна без гигантов; в саваннах и тропических джунглях охотились на меньших своих собратьев юркие вараны, аллигаторы, не умолкали разноголосые суслики и бесчисленные пернатые... А вокруг простиралась воистину сюрреалистическая картина: белеющие под палящим солнцем огромные скелеты, загадочные несоразмерные кости и люди, пытающиеся познать непознаваемое...

Нечто подобное можно наблюдать и в человеческом обществе. Изменившийся климат в привычной среде, понижение общей духовно-нравственной температуры, как показывает жизнь, вернее всего губят именно гигантов духа, но не многочисленных перевёртышей, обладающих высокой степенью адаптивности. Так наступает почти неотвратимый конец целой эпохи.

При втором президенте Киргизстана Курманбеке Бакиеве людям культуры стало тесно и неуютно. Новая власть решила, что все эти гиганты — люди Аскара Акаева, стоявшего у истоков суверенной государственности Киргизстана и ставшего её лицом в мире.

Все думали, что Чингиз Торекулович живёт в благополучной Бельгии припеваючи, греясь в лучах собственной славы, отрестившись от реальных проблем страны и наслаждаясь закатным солнцем счастливой старости. Грешен, порой и я думал примерно так же. Да Айтматов и вёл себя соответственно: всё время шутил, смеялся, казался чуть ли не воплощением внутренней гармонии. И мало кто мог догадаться о преследовавших его болезненных переживаниях, порой отнюдь не планетарного, а сугубо личного свойства. Прав был Евтушенко, сказавший

сразу после кончины Айтматова, что он «жил очень тяжёлой жизнью». Но упаси меня Бог пытаться заглянуть в интимные сферы, хотя в течение многих лет мы были с Чингизом-ага близко знакомы. Иное дело — подумать о том, что ускорило его внезапный уход, перечитать книги писателя, особенно роман «Когда падают горы».

...Мне посчастливилось быть едва ли не самым первым его читателем — ещё в журнальном варианте, который я «проглотил» буквально залпом. Потом перечитывал некоторые места, пытался глубже проникнуть в суть произведения, уловить его истоки. Заинтриговало уже само двойное название «Когда падают горы» и тут же в скобках — «Вечная невеста».

Впечатление как было, так и осталось глубоким, даже шокирующим. Только шокировала не литература, не текст, а тот трагический *контекст*, та обволакивающая и всепроникающая грусть, которой веет от книги. Я тогда гнал от себя мысль, что это последняя книга писателя, но не мог не чувствовать, что он предсказывает собственный конец, почти прощается с читателями. Роман как художественный текст получился достаточно сырым и до конца не проработанным. А ведь, казалось бы, само имя обязывало. Но как документ времени, как исповедь великого человека, обманутого историей, лишённого полноценной, полнокровной жизни, — это вещь потрясающая. Я долго не решался набрать номер телефона и поделиться своими впечатлениями с автором — уж больно двойственными они оказались. И вдруг он позвонил сам... Я растерялся. Не мог же сказать, зачем вы, мол, так прозрачно намекнули на собственную смерть. Ограничился общими словами, что задумка очень серьёзная, что уже третий день стараюсь привести в порядок мысли...

Арсен Саманчин, главный герой романа, получился неким литературным двойником Айтматова, что не скрывал и сам автор. Да и гадать не приходилось — никто в Киргизстане, кроме Айтматова, не дружил с Горбачёвым.

Героя уничтожила, буквально искромсала эпоха — жестокая и сокрушительная, с её социально-политическими цунами и страстью к деньгам и богатству. Не пощадила и жизнь — ушла к бизнесмену любимая женщина, ушли слава, признание, всё то, что его окружало в Его время, в Его эпоху. В такой ситуации уход из жизни был предрешённым, смерть — логичной и неизбежной. И Арсен ушёл... Обманутый, оскорблённый, покинутый, он ушёл за своей эпохой, канувшей в Лету.

Сюжет романа постоянно петляет, насыщаясь многообразными параллелями. Особенно впечатляет вставная повесть о Жаабарсе и его любимой самке, покинувшей его, уже старого и немощного, и ушедшей к

молодому, любвеобильному самцу. Впервые Айтматов как писатель позволил себе такую меру натурализма, как в этом романе, ведь любовь всегда оставалась у него сферой сакральной и житнетворящей.

И мы слышали этот шум, этот грохот падающих гор — шум и ярость, какие возникают при тектоническом сдвиге времён, увлекающих за собою в пропасть преданного всеми человека.

Первая, но вполне ощутимая встреча с судьбой, с возможным концом жизни у Айтматова случилась в 2004 году, когда он пережил первый инфаркт. Ситуация была крайне серьёзной, мы все были напуганы и ошарашены, ведь сердце дало сбой на фоне давнего диабета и высокого давления. Опорой и поддержкой были жена Мария Урматовна, младшие дети, талантливые и добрые, как сам Чингиз Торекулович. А буквально спас его академик Мирсаид Миррахимов, без преувеличения лучший врач страны, друг Айтматова.

Вёл он себя в те дни на редкость достойно и мужественно. Никакой паники, никаких жалоб, тем более суеты. Даже при тускловатом освещении больничной палаты лицо его казалось просветлённым и лучезарным, но, самое главное, он был почти весел и бодр духом. Словом, Айтматов оказался действительно олимпийцем. Уходя от него, я поймал себя на мысли, что к возможному концу жизни он относится абсолютно спокойно, даже с некой радостью. Он прекрасно осознавал, что жил не зря и своё земное дело выполнил с лихвой. Знал и то, что его посмертная жизнь окажется не менее славной и интересной. Его уже ничто не беспокоило, он готов был встретить смерть, не только не боясь, но посмеиваясь над её пустой попыткой остановить неостановимое...

И всё же напрасно его отозвали из Европы и вынудили, едва ли не унижаясь, просить должности советника ректора в Киргизско-турецком университете Бишкека. Он бы там спокойно дожил свои дни. Мне уже приходилось отмечать, что по своей культурной организации, по природе своих духовных пристрастий и привязанностей Чингиз Айтматов был европейцем.

Здоровье его для человека, доживавшего седьмой десяток жизни было совсем недурно. И выглядел он хорошо — свои, не вставные зубы, статная, лишь с незаметной горбинкой фигура, гладкая, без старческих морщин кожа. Но всё-таки о смерти, о возможности неожиданного конца он заговаривал всё чаще.

Не думаю, что он боялся смерти, страшился её неотвратимости, как, например, Гоголь, или считал её основным вопросом бытия и философии, как Альбер Камю. Айтматов всегда ощущал её дыхание, близкое соседство

и безусловную власть; был убеждён, что она может наступить в любую минуту, встреча с ней может случиться за первым же углом. И смерть действительно настигла его внезапно, будто выскочила из-за угла, подмигивая хитро и заманивая в иной мир, говоря «Пора уже!», как чёрт у Фауста, как бесы у Пушкина, демон у Лермонтова.

Вспоминается один эпизод, которому я стал свидетелем. Дело было во время очередного митинга-реквиема близ исторического мемориала «Ата Бейит», где я затеял, приурочив это к 2200-летию Киргизской государственности, установку огромного Колокола памяти рядом с братским кладбищем. Колокол получился очень красивым, хотя, к большому сожалению, не столь звонким, как того хотелось, — у местных инженеров немного не хватило опыта изготовления такого весьма специфического изделия. Но всё уладилось благодаря настоятелю Бишкекской православной церкви, который передал нам два небольших колокола, и «Реквием» Моцарта в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Асанхана Джумахматова на фоне звона колоколов произвёл поистине неизгладимое впечатление. Замечателен был и хор Национального радио. И вот я увидел, что Чингиз Торекулович крайне взволнован и никак не может отойти от места, где установлен Колокол памяти. А президент Акаев, всё руководство уже стояли у микрофона, и нужно было начинать митинг, на котором должен был выступить и Айтматов. Я подошёл к нему. А он всё не трогался с места, о чём-то глубоко задумавшись. Только обмолвился, что колокол ему очень понравился. Услышать это было, не скрою, весьма приятно.

Всё было торжественно и в то же время печально. Столько выдающихся людей, и все они в одной братской могиле... Тут и К. Тыныстанов, и Б. Исакеев, и А. Сыдыков, и многие другие, в их числе — Торекул Айтматов, которого сын всю жизнь боготворил, ждал, тосковал, искал место его захоронения и вот, наконец, нашёл. «Мы, дети Айтматова, — сказал он в своём выступлении, — рады, что он найден, что он нашёл место своего вечного упокоения в таком прекрасном, священном месте... Я хочу сказать, что отец наш оказался всё-таки счастливым человеком...» Меня поразили эти слова: красивое место, где похоронен любимый отец. И который, должно быть, стал счастливым человеком, ибо нашёл вечный свой покой в таком удивительном месте, откуда всё видно. Так в чём же счастье?

И когда Чингиз Торекулович сам ушёл в мир иной, оборвав свой земной путь, стало известно, что он завещал быть похороненным именно в Ата-Бейитском мемориале, причём точно на том месте, где тогда стоял со своими глубокими и тяжёлыми думами — возле колокола, там, где

раскинулась небольшая полянка и росла пушистая молодая ель.

На следующий день после похорон рано поутру я специально съездил на его могилу, совершил обычную мусульманскую молитву и внимательно осмотрелся. Мне стало, наконец, ясно, почему именно здесь пожелал остаться уже навсегда Чингиз Айтматов.

Вокруг стояла особая, торжественная тишина... Всё было видно, как на ладони. Виден был и Бишкек, любимый город Айтматова. Город его фантастического взлёта, его любви, его друзей, его высоких дум. А рядом с его могилой лежал любимый отец. Ему действительно было здесь так уютно, так спокойно... А Колокол памяти, установленный возле могилы, как бы символизировал то, о чём он — великий сын земли киргизской, наша гордость и национальная слава, гражданин мира и вечный сирота — предупреждал всех — и нас, грешных, и весь цивилизованный мир.

Кончина Чингиза Айтматова по сей день остаётся очень туманной и загадочной, если не сказать подозрительной. Примечательно, что так же думают в Астане, где он ночевал накануне вылета в Казань и выглядел совершенно здоровым и бодрым, и, разумеется, в Татарстане, на родине его предков по материнской линии. Прошло несколько лет, но споры вокруг кончины великого писателя не утихают, появляются всё новые догадки и версии. Забегая вперёд, всё же отмечу, что болезнь Айтматова в Казани была действительно до странности скоротечной, внезапной, словно его сразил меч Кассандры. По воспоминаниям младшего сына писателя Эльдара, отец неважно себя почувствовал, потом быстро потерял сознание, впал в кому и так и не пришёл в себя.

Как гласило заключение консилиума татарских врачей, у него отказали обе почки, произошла полная дисфункция печени, случилась двусторонняя пневмония лёгких и организм поразил жесточайший септический шок. То есть одномоментно отказало всё. Чингиз Торекулович и слова не успел сказать своим близким, которых, впрочем, к нему и не подпустили. Не стали даже, как вспоминает Мария Урматовна Айтматова, спрашивать, куда его отправить: сразу перенесли в бессознательном состоянии в легкофюзеляжный самолёт, взявший курс не на Москву, а почему-то на Нюрнберг.

С другой стороны, Николай Анастасьев, известный литературовед и друг Чингиза Торекуловича, свидетельствует, что буквально за день до внезапной смерти писатель по телефону разговаривал с Владимиром Фёдоровичем Огневым, которого он считал своим старшим товарищем и единомышленником, и передавал, что дело вроде идёт на поправку.

Но самое поразительное то, что он, повторю, свою роковую судьбу как

бы предчувствовал, косвенно описав в последнем романе, вышедшем всего за полгода до его внезапной кончины.

В нём Айтматов простился и со страной своей, и с веком, который так или иначе оставил свой глубокий отпечаток на судьбе, на его знаменитых произведениях. Это была его лебединая песня, прощальное слово, пусть и небезупречное художественно.

Автор поставил перед своим героем сложнейшую дилемму — жить или не жить, быть или не быть? И тот нелепо погиб от случайной пули. Звучит парадоксально, но пуля эта была для Саманчина желанной, а физическая смерть — неизбежной. Параллели всегда очень рискованны, и всё же я оглянусь на роман Кафки «Процесс», где герой умирает почти так же, как Арсен Саманчин в романе Айтматова. Жизнь его утрачивает всякое содержание, а смерть становится спасением от этой экзистенциальной бессмыслицы, и когда конвоир добивает несчастного, он испытывает едва ли не чувство благодарности. Конечно, между мирами и героями Кафки и Айтматова лежат огромные культурные пространства, различные жизненные опыты и взгляды. То же самое можно сказать и о Хемингуэе, о Камю, с которыми исследователи любят сравнивать Айтматова. Но существует и безусловная общность. Это — ощущение кризиса базовых человеческих ценностей, смыслоутраты, общность в понимании сути человеческой борьбы за себя, за идеалы, за жизнь, наконец. История XX столетия не одного только Айтматова заставила, по его же словам, «плача на коленях, восставать во гневе», жить в бесконечной надежде и в то же время испытывать жестокие сомнения в самых существенных гуманистических ценностях. Для героев Хемингуэя важно было «не сдаться», не согнуться, поэтому они боролись, и нередко предпочитали — как, впрочем, и сам писатель — моральной капитуляции смерть. Камю же видел в жизни человека XX столетия истинное благородство в борьбе, но испытывал и экзистенциальное отчаяние перед неразрешимыми вопросами бытия и истории, объявив в итоге, что основной вопрос философии — это самоубийство.

А айтматовская философская дилемма, как мне кажется, несколько иного плана. Это вопрос прежде всего этического спасения человека, спасения в человеке человека, глубокая вера в него, и в то же время отчаяние от того, что человек не способен подняться выше истории, преодолеть фатум, «изнасиловать судьбу», как однажды выразился тот же Хемингуэй. Поэтому история для Айтматова — это некий демиург, это тяжёлый Крест и, одновременно, Плаха, великое благо и сущий Ад; история — это неуправляемая, движимая толпой и её узкокорыстными

манипуляторами стихия, которая до небес возвышает человека, но порой и до неузнаваемости его деформирует.

...Айтматов завещания не оставил, но оставил свои книги и ушёл из жизни так, как уходят таинственные странники. О многом хотелось бы у него спросить, но, увы, не спросили, да он бы и не ответил. Но то, о чём думал художник, во что верил, что отстаивал в своих произведениях и публичных выступлениях, и есть, думается, его завещание.

В последнем своём романе он, кажется, пророчески предвидел не только собственный уход, но и близкую судьбу Киргизстана, внушавшую ему, без видимых, казалось, на то причин глубокую тревогу. Он пророчески, задолго до того, как прозвучали они в реальной жизни в 2010-м, описал эти выстрелы, убийства, предугадал террор, власть тьмы и взбесившихся политизированных люмпенов. Роман получился грустным повествованием о том, как разрушилась гора, как не сбылась мечта. Осталась только вечная невеста — свет его очей, закатные грёзы неостывшей души, последняя спасительная соломинка...

Так завершил Чингиз Айтматов свою земную жизнь. Так закончил свой путь последний писатель империи, философ и гуманист, певец и глубокий печальник ушедшей эпохи.

Он ушёл. Эта весть настолько сильно потрясла нас, киргизов, что только теперь мы по-настоящему понимаем, кем он был на самом деле и как сильно мы его любили. Только теперь все с горечью понимают, как трудно, как пустынно и сиротливо стало без него.

Когда Айтматова не стало, кто-то очень хорошо сказал, что киргизы похоронили целую эпоху и едва ли не самого выдающегося своего соотечественника. В этом не было преувеличения. Ушёл последний трубадур, заблудившийся во времени, воспевший любовь, очарованный красотой сущего. И погрузившийся в глубокую печаль, порождённую осознанием трагических несовершенств сынов человеческих.

Так закончился этот удивительный писательский, человеческий путь. Так была допета эта великая песнь по имени Айтматов. Так закончилась прекрасная жизнь, так состоялась великая судьба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История жизни и творчества Чингиза Айтматова тесно связана — пишу об этом безо всякого пафоса — с новой историей Киргизстана. Если попробовать отыскать наиболее объёмное и точное выражение развития нашей небольшой республики в XX столетии, то лучше имени этого великого человека и гуманиста трудно было бы что-то найти.

Люди, народы мира, в том числе разные мыслители, ныне предъявляют свой счёт к XX веку, но можно с уверенностью сказать, что это был бесспорно век того народа, из которого вышел Айтматов — киргизов. Это был век огромного, поистине невероятного везения для этого небольшого, но очень древнего народа. Нам, киргизам, никогда раньше так не везло, как в этом столетии.

Я бы выделил самые главные везения, коли речь зашла о них.

Их, на мой взгляд, было пять. Это, конечно, советская власть (несмотря на нескончаемые споры о её политической природе), которая спасла нас, киргизов, от национальной катастрофы 1916 года, когда после массового антицарского восстания, жестоко подавленного карательными отрядами русской армии, киргизы пустились в массовое бегство в соседний Китай. И мы выжили как народ лишь благодаря этой власти, которая установилась годом спустя, вернув отчаявшихся киргизов обратно и остановив их истребление.

Второе везение — это, конечно, социальная политика СССР, которая привела киргизов в конечном своём итоге к культурно-образовательному, демографическому, духовному возрождению.

Третье везение — это наше территориальное размежевание и образование Киргизской ССР среди пятнадцати союзных республик, что положило конец нашему многовековому кочевничеству.

Четвёртое везение — это, разумеется, наша государственная независимость, которая была достигнута не войной и не кровью, а принесена в страну как бы в клюве голубя.

Наконец, пятое везение — это, конечно, явление Айтматова, блистательный киргизский «серебряный век» 1960—1970-х годов, во многом предопределённый именно его творчеством и личностью.

У суверенного Киргизстана есть свои национальные символы, и они действительно прекрасны. Ала-Тоо, например. Это поэтический синоним

Киргизстана. Таковы Иссык-Куль, величественный пик Хан-Тенгри, седовласый Алай, священная Сулайман-гора, дивные ореховые леса Арсланбоба. В этом же ряду символов легендарный стоит Талас — древняя столица киргизов, земля Манаса Великодушного. И одним из столь же бесспорных символов новейшего Киргизстана, конечно же, стал Айтматов. И мы счастливы осознавать это.

Помнится, однажды Чингиз Торекулович Айтматов замечтался вслух. Дело было в начале 1980-х, в большом зале филармонии, а речь шла об обмелении озера Иссык-Куль. Тогда об этом много говорилось, был даже создан некий фонд по его спасению. И Айтматов задумался о значении этого уникального киргизского моря для всех нас. Начал свою речь он едва ли не как Мартин Лютер Кинг: «Есть у меня мечта...»

«Я мечтаю, чтобы Иссык-Куль сохранился в своей первозданной красоте и наш народ вечно жил и благоденствовал на его берегах, по последнему слову цивилизации его обустроив и радушно встречая гостей отовсюду, да чтобы был дома мир и солнце сошлось в наш благословенный чамгарак...» Чамгарак — это верхняя часть юрты, откуда падает свет в её внутрь.

Зал, к которому обращался Чингиз Торекулович, на некоторое время затих; казалось, присутствующие унеслись на волне айтматовской мечты куда-то в будущее и пытались представить себе, как бы выглядело иссык-кульское побережье, ухоженное, развитое, сверкающее, как снуют по голубой воде озера белые яхты с надутыми разноцветными парусами, а киргизы управляют этой неземной красотой — здоровые, загорелые и счастливые...

В своё время Манас Великодушный тоже мечтал. Как повествуется в эпосе, он облюбывал Ала-Тоо, куда, подобно библейскому Моисею, привёл из Алтая киргизов, уговорив их оставить обжитые места. Поднявшись на легендарный Кароол в Таласе, он представил себе, как здесь будут жить киргизы, сплочённые и свободные.

Что ж, мечта Манаса в значительном смысле сбылась: мы живём на своей земле, не исчезли, не рассыпались и не растворились в других народах, живём в мировом сообществе как самостоятельная нация и независимое государство. Однако всё остальное, как видим, *только начинается*.

Да, кое-что уже удалось. Столица возрождается, с удивительной быстротой вырастают красивые дома и торговые центры. Наши строители овладели всеми секретами своего дела и обнаруживают при этом хороший вкус — у нас нет причин жаловаться на то, что новые здания портят облик

столицы, как это было раньше. А был страх, причём обоснованный, что после ухода Союза мы придём к такому развалу, к такой деградации, что будем отброшены как минимум к началу XX века, когда киргизский народ влачил существование уровня чуть ли не Средневековья. Сейчас мы видим похвальное разнообразие архитектуры. Нет, убогие киоски и разного рода забегаловки всё ещё оскорбляют глаз, но, тем не менее, Бишкек наш становится всё лучше.

Радует наша молодёжь, которая знает языки, учится и одновременно работает, стремится ко всему новому и передовому.

Тем не менее манкуртизм — нравственный и духовный, о чрезвычайной опасности которого для исторического развития и морального здоровья киргизов всё время предупреждал Чингиз Торекулович — вовсе не ушёл в небытие. Вместе с тем этот айтматовский завет-предупреждение имеет не только национальное, но и широкое общечеловеческое значение.

В данной книге не раз подчёркивалось, что судьба Айтматова органически переплетена с историей Советского Союза. История этой могучей державы, её взлёт и падение так или иначе отразились в произведениях писателя. Он ярко отразил противоречия и внутренние коллизии советского общества. Вместе с тем, подобно Хемингуэю, Камю, Маркесу и многим другим крупным художникам XX века, Айтматов вышел далеко за пределы «пяточка земли величиной с почтовую марку» (Фолкнер) и показал, как современника загоняют в глубокий тупик бесчеловечности, перемалывают в жерновах планетарного кризиса морали. С необыкновенной мудростью и искренностью показал он мучительный путь человека этого великого столетия, его поиски и заблуждения, его неистребимую любовь к жизни и величие красоты его духа. Он показал путь, который ведёт — поверх идеологических постулатов и политических доктрин — к Богу, к духовным, этическим первоначалам. К единоличной встрече с судьбой, с историей, к неизбежному экзистенциальному выбору, который когда-то привёл блудного сына, выведенного кистью Рембрандта около четырёх столетий назад, к родным истокам, к дому, к истине. Отсюда и его определённый фатализм, общий трагический пафос писаний, готовность «восстать во гневе, плача на коленях».

Айтматов ещё долго будет оставаться примером истинной приверженности общечеловеческим ценностям. Его стоический гуманизм базировался на родной киргизской культуре, которую он обогатил, наполнив новым содержанием, связав с русской, а через неё — с европейской цивилизацией. Собственно, в этом и заключался феномен

Айтматова, если угодно — его загадка и разгадка. Прочная, удивительно органичная национальная основа его творчества обрела морально-этическое наполнение, а его уникальный писательский голос — достоверность и правдивость, когда он касался насущных вопросов жизни человека XX века, человека равнодушного, пристрастного, духовно сложного.

Айтматов оставил своим читателям уникальное наследие. О нём долго ещё будут вспоминать, задаваясь неотвратимым вопросом «как быть человеку человеком». Духовный универсализм писателя останется востребованным, покуда призывы к изоляционизму, к закрытым границам, к замкнутым территориям не исчезнут из нашего лексикона.

Не усвоив уроков Айтматова, не проникнувшись особым духом его произведений, нравственно насыщенного слова, мы, киргизы, немногого добьёмся.

При жизни Чингиз Айтматов изведаль и хвалу, и хулу, о нём спорили, ему завидовали, на него молились. Завистников у него было немало и в Бишкеке, и в Москве, и в Алма-Ате; иные вслух ворчали, что писатель задержался в своей благополучной Европе, превратившись в небожителя. Но, думаю, со временем такого рода нападки стали лишь данью свободе слова, а не желанием его как-то принизить. Чингиз Айтматов был и остаётся лучшей частью нашей культуры, нашей законной гордостью, нашим национальным символом. Нашим всем, как говорят русские о Пушкине.

Вместе с тем мы, киргизстанцы, как показывает жизнь, оказались не совсем готовы к тому, чтобы усвоить его идейно-философское наследие и следовать его заветам. И это обходится нам дорого, порой — чересчур дорого. Поэтому заново прочитать Айтматова и усвоить его уроки, сохранить и изучить многогранное наследие — дело будущего.

Очень не хочется повторять известное, но, тем не менее, не могу не вспомнить гениальные слова Достоевского о том же Пушкине, которого он назвал не только явлением чрезвычайным и пророческим для России, но и неким указанием.

Если иметь в виду Киргизстан, то Айтматов был и останется для нас и историческим везением, и национальным символом, и пророческим указанием, и яркой путеводной звездой.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ч. Т. АЙТМАТОВА

1928, 12 декабря — в селе Шекер Таласского кантона Киргизской ССР в семье Торекула Айтматова и Нагимы Хамзеевны Абдудалиевой родился сын Чингиз.

1938 — Торекул Айтматов, отец Чингиза, расстрелян как «враг народа».

1946 — Чингиз Айтматов поступает в Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием.

1948 — поступает в Киргизский сельскохозяйственный институт во Фрунзе (окончил в 1953 году).

1952, 6 апреля — дебют в газете «Комсомолец Киргизии» с рассказом «Газетчик Дзюйдо» на русском и рассказом «Ашым» на киргизском языке.

1956 — поступает на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958 году).

1957 — повесть «Лицом к лицу» опубликована на киргизском языке в журнале «Ала-Тоо», а в следующем году — в журнале «Октябрь» в авторском переводе на русский язык.

1958 — публикация повести «Джамиля» в журнале «Новый мир», которая приносит Айтматову мировую известность. В том же году повесть выходит на французском языке в переводе Луи Арагона, который назвал её «самой прекрасной повестью о любви в мире».

1959—1965 — главный редактор журнала «Литературный Киргизстан», одновременно — собственный корреспондент газеты «Правда» по Киргизской ССР.

1963 — литературный триумф писателя — Ленинская премия за «Повести гор и степей».

1965 — повесть «Первый учитель» экранизирована Андреем Кончаловским на «Мосфильме».

1968 — Государственная премия СССР за повесть «Прощай, Гульсары!» (повесть не была переведена на русский с киргизского, как раньше, а написана автором на русском). Начиная с этой повести, Чингиз Айтматов перешёл в основном на русский язык. Вышел фильм Сергея

Урусевского «Бег иноходца», снятый по мотивам «Прощай, Гульсары!».

1970 — повесть «Белый пароход» опубликована в январском номере журнала «Новый мир».

1973 — подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» о Солженицыне и Сахарове 31 августа 1973 года.

1977 — вторая Государственная премия СССР за фильм «Белый пароход» (режиссёр Б. Шамшиев, сценарий Ч. Айтматова, 1975).

1978 — Чингиз Айтматов удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1980 — в журнале «Новый мир» вышел роман «И дольше века длится день».

1983 — Айтматов получает третью Государственную премию СССР за роман «И дольше века длится день». Избран членом Европейской Академии наук, искусств и литературы (Париж).

1985 — лауреат международной премии Джавахарлала Неру.

1986, 27 октября — 2 ноября — проведение «Иссык-Кульского форума».

1990, март — выдвижение (номинационную речь произнёс Чингиз Айтматов) М. С. Горбачёва Президентом СССР. Посол СССР (с 1992 года — Российской Федерации) в Великом Герцогстве Люксембург, с 1994-го по 2007-й — Киргизской Республики в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

1998 — Чингиз Айтматов удостоен звания Народного Героя Киргизской Республики.

2008 — вышел последний роман писателя «Когда падают горы (Вечная невеста)».

10 июня — Айтматов скоропостижно скончался после непродолжительной болезни в городе Нюрнберг, Германия. Похоронен в Национальной усыпальнице «Ата-Бейит» близ Бишкека.

2011 — в Бишкеке, на Центральной площади Ала-Тоо открыт памятник Чингизу Айтматову.

2013 — в Москве, в атриуме Библиотеки иностранной литературы, открыт памятник-бюст Чингизу Айтматову работы народного художника Российской Федерации Георгия Франгуляна.

2014 — в Анкаре открыли памятник Чингизу Айтматову.

2015 — в Москве появился сквер имени Чингиза Айтматова, расположенный в Даниловском районе Москвы на стыке улиц Люсиновская и Большая Серпуховская.

БИБЛИОГРАФИЯ

Айтматов Ч. В соавторстве с землёю и водой. Фрунзе: Киргизстан, 1978.

Айтматов Ч. Детство. Бишкек, 2011.

Айтматов Ч. Джамиля. Бишкек, 2008.

Айтматов Ч. И дольше века длится день. М., 1991.

Айтматов Ч. И дольше века длится день. Плаха. Пегий пёс, бегущий краем моря. Фрунзе: Киргизстан, 1988.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988.

Айтматова Р. Белые страницы истории. Бишкек, 2013.

Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996.

Бобулов К. Пути развития социалистического реализма в киргизской прозе. Фрунзе: Киргизстан, 1969.

Бурлацкий Ф. Новое мышление. М., 1989.

Гачев Г. Чингиз Айтматов. Фрунзе: Киргизстан, 1989.

Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. Фрунзе: Киргизстан, 1982.

Горбачёв М. Жизнь и реформы. М., 1995.

Гусейнов Ч. Формирование общности советской многонациональной литературы. М., 1978.

Иссык-Кульский форум. Фрунзе: Киргизстан. 1987.

Лавров В. Человек, время, литература: Концепция личности в многонациональной советской литературе. Л., 1981.

Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990.

Сумерки богов / Сост. А. Яковлев. М., 1989.

Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1961.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1981.

Примечания

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 24-25.

Там же. С. 25 (сейчас город Джамбул переименован и называется Тараз. — *Прим. авт.*).

Айтматова Р. Белые страницы истории. Бишкек, 2013. С. 44.

Айтматова Р. Белые страницы истории. Бишкек, 2013. С. 47.

Айтматов Ч. Детство. Бишкек, 2011. С. 44.

Важный пункт, важное обстоятельство (*лат.*).

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 30.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 30.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 25.

Там же. С. 31.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 39-40.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 39-40.

Ибраимов О. Бибисара и Муртаза. История неразделённой любви. 26 августа 2015, Rus.Azattyk.org.

Цит. по кн.: *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 72.

Айтматов Ч. Джамиля. Бишкек, 2008. С. 62-64.

Бобулов К. Пути развития социалистического реализма в киргизской прозе. Фрунзе: Киргизстан, 1969.

Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1961. С. 24.

Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. Фрунзе: Киргизстан, 1982. С. 15.

Айтматова Р. Белые страницы истории. Бишкек, 2013. С. 45.

Лавров В. Человек. Время. Литература: Концепция личности в многонациональной советской литературе. Л.: Художественная литература, 1981. С. 117.

Ветрова Е. Поэма в прозе // Труд. 1963. 26 ноября.

Айтматова Р. Белые страницы истории. Бишкек, 2013. С. 47.

См.: *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм — это гуманизм.

Айтматов Ч. В соавторстве с землёю и водою. Фрунзе: Киргизстан, 1978. С. 93.

Айтматов Ч. В соавторстве с землёй и водою. 2-е изд. Фрунзе: Киргизстан, 1979. С. 94.

Юность. 1978. № 5. С. 69.

Вопросы литературы. 1978. № 1. С. 160.

Гачев Г. Чингиз Айтматов. Фрунзе, 1989. С. 11-12.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. Цит. по кн.: Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.

Цит. по кн.: Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.

Гусейнов Ч. Формирование общности советской многонациональной литературы. М., 1978. С. 184.

Диссиденты о диссидентстве // Знамя. 1997. № 9.

Оригинал публикации: «Der Imperialismus kann auch positive Seiten haben». 2005. 11 июля.

Айтматов Ч. В соавторстве с землёй и водою. 2-е изд. Фрунзе: Киргизстан, 1979. С. 166.

Здесь писатель ошибочно утверждает, что название романа взято из Шекспира, в то время как оно содержится в оригинальном тексте Б. Пастернака «Единственные дни». — *Прим. авт.*

Айтматов Ч. И дольше века длится день. М., 1991. С. 6.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1981. С. 323.

Айтматов Ч. Предисловие к роману «И дольше века длится день». Фрунзе: Киргизстан, 1981. С. 6.

Айтматов Ч. И дольше века длится день. Плаха. Пегий пёс, бегущий берегом моря. Фрунзе: Киргизстан, 1988. С. 290-291.

Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 24.

Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996. С. 341.

Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996. С. 334-336.

Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996. С. 337-338.

Цит. по кн.: *Бурлацкий Ф.* Новое мышление. М., 1989. С. 5.

Иссык-Кульский форум. Фрунзе: Киргизстан, 1987. С. 36.

Там же. С. 50.

Горбачёв М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. Кн. 1. С. 321.

Иссык-Кульский форум. Фрунзе: Киргизстан, 1987. С. 48.

Там же. С. 55-56.

Там же. С. 78.

Айтматов Ч. У империализма могут быть и позитивные стороны.
Оригинал публикации: «Der Imperialismus kann auch positive Seiten haben».
Интервью газете «Франкфуртер альгемайне». 2005. 11 июля.

Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (Исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996. С.138.

Молдо (от слова «мулла») — получивший мусульманское образование, грамотный человек (*прим. ред.*).

Бери, сынок, вот это (*кирг.*).